



ЭКСМО

ВИКТОР  
**ПРОНИН**

# ВЫИГРЫВАТЬ НАДО УМЕТЬ



Черная кошка

Виктор Пронин

**Выигрывать надо уметь (сборник)**

«ЭКСМО»

**Пронин В. А.**

Выигрывать надо уметь (сборник) / В. А. Пронин — «Эксмо»,  
— (Черная кошка)

ISBN 5-699-17759-0

Мастер острого сюжета, закрученной интриги, точных, а потому и убедительных подробностей, достаточно вспомнить знаменитого «Ворошиловского стрелка» или непревзойденную криминальную сагу «Банда», Виктор Пронин великолепно владеет трудным жанром рассказа. В его рассказах есть место и для хитроумной «сыщицкой» головоломки, и для лиричного повествования о непростых отношениях между мужчиной и женщиной, и для исследования парадоксов человеческого характера. Словом, жизнь – штука непредсказуемая, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя в любой следующий миг. Но в этом-то и самый интерес...

ISBN 5-699-17759-0

© Пронин В. А.

© Эксмо

## Содержание

ДУРНЫЕ ПРИМЕТЫ	5
ОВЕРКИЛЬ	13
НЕАПОЛИТАНСКИЙ РОМАНС	20
ГОЛОСА РОДНЫХ И БЛИЗКИХ	27
ПРЕКРАСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	33
СОЛНЕЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ	39
А ВЫ НЕ ЖДАЛИ НАС...	45
ЯМА НАД ГОЛОВОЙ	54
ДОЛГОЖДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ	61
КИЕВСКИЙ ТОРТ	68
ОТДУШИНА	78
Конец ознакомительного фрагмента.	83

# Виктор Пронин

## Выигрывать нужно уметь (рассказы)

### ДУРНЫЕ ПРИМЕТЫ

В облезлом, дребезжащем автобусе их было двое, не считая водителя. Они сидели по обе стороны от прохода, положив рядом рюкзаки. Время от времени начинал идти вялый осенний дождь. Он покрывал мелкими каплями ветровое стекло, и тогда водитель крутил скрипучий рычаг «дворника». Но через сотню метров стекло снова становилось пупырчатым от капель, и шофер снова крутил рычаг, не раздражаясь, а даже будто довольный забарахлившим «дворником».

Рассвет еще не наступил, машина с трудом продиралась сквозь вязкий туман, который вот уже несколько дней шел с океана и затопил, кажется, весь остров. Где-то из-за этого тумана надсадно ревели сирены маяков, сутками не выключали свет водители на горных дорогах, стояли в аэропортах самолеты, и по их клепаным бокам стекали медленные капли влаги.

– Вы что, – обернулся шофер, – в самом деле решили до конца ехать?

Тюльпин, длинный веснушчатый парень с рыжеватой бородкой, неохотно оторвался от окна, покосился на спутницу. Не то она сама была слишком хороша для этого автобуса, не то ее одежда...

– Не понимаю – какого черта! – продолжил шофер. – Что там речка, что здесь! Что там рыбы нет, что здесь... Может, выйдете, а, ребята? – с надеждой спросил он.

– Нет, нам до конца. – Женщина сказала это тихо, почти без выражения. Сказала и быстро взглянула на парня, будто опасаясь, что он неверно поймет ее слова или придаст им слишком много значения.

– Куда тебе спешить, – заговорил Тюльпин. – Все равно маршруты по расписанию.

– Так-то оно так, да не совсем. – Шофер помолчал. – Если к вечеру сюда пассажиров не будет, то и я не поеду. Гонять машину из-за двух человек... Так что смотрите.

– Но ведь вам надо на последней остановке пассажиров взять? – чуть назидательно спросила женщина.

– Да нету их там, нету! Геологи работали летом, для них и маршрут пробили. А сейчас они по зимним квартирам разбежались.

– Нам до конца, – повторила женщина, глядя прямо перед собой. Волосы ее были отброшены назад и забраны под берет, отчего лицо казалось каким-то обнаженным.

Шофер обернулся, посмотрел на обоих, но ничего больше не сказал. В их отчужденном молчании проступало легкое недовольство, стоял между его ранними пассажирами какой-то незаконченный разговор. В маленькое зеркальце над ветровым стеклом шофер видел, как иногда то женщина, то мужчина взглядывали друг на друга и тут же отворачивались. Будто готовились к чему-то.

Через полчаса машина остановилась. Перед ней в свете фар темнели влажные стволы лиственниц. Шофер выключил свет, заглушил мотор. И сразу ночь, туман, сырость заполнили автобус. Запахло прелыми листьями, тайгой. Стал слышен шелест листьев, легкий звон металлической крыши автобуса под ударами капель дождя, из темноты донесся глухой всплеск воды.

– Приехали, – сказал шофер, не оглядываясь на пассажиров. Он распахнул переднюю дверцу, вынул из кармана мятую пачку, пошарил в ней пальцами, нашел переломленную сигаретку и сунул ее в рот.

Женщина вскинула тощий рюкзак на плечо, молча прошла к выходу и легко спрыгнула в высокую траву.

– Спасибо, – сказал Тюльпин шоферу. Задержавшись у ступеньки, он тронул его за плечо. – Всего. Ты все-таки приезжай вечером.

– Будь здоров. – Шофер включил дальний свет и, убедившись, что женщина прошла вперед, повернулся к парню. – Послушай, друг, что-то у вас неладно, а?

– А видно?

– Слегка.

– Ничего, все к лучшему. Пока!

– У меня кореш был, тот тоже все повторял... К лучшему, к лучшему...

– И что же твой кореш?

– Разбился. – Спичка на секунду осветила небритое лицо шофера, помятую кепочку, тяжелые растрескавшиеся пальцы. Оглянувшись через несколько шагов, Тюльпин увидел за ветровым стеклом слабый огонек сигареты – шофер смотрел им вслед.

Женщина шла по тропинке к реке. На ней были черные узкие брюки, вправленные в сапоги, черная куртка с капюшоном. Тюльпин еще раз оглянулся, махнул шоферу рукой и пошел быстрее. В этой поездке он давно почувствовал неладное. Что-то было не так. Будто перед ссорой, когда вдруг замечаешь, как самые безобидные слова вдруг наливаются тяжестью, значением, враждебностью.

– Лариса! – крикнул Тюльпин в туман. – Подожди... – И он побежал, стараясь не потерять в утренних сумерках тропинку и успеть перейти на шаг до того, как она увидит, что он бежит. Он понимал, что бежать ему не следовало бы, в его поспешности было что-то унижительное, зависимое, признание какой-то своей вины, готовность уступить.

Лариса стояла, упершись спиной в ствол молоденькой лиственницы и подняв голову вверх, будто прислушиваясь к чему-то далекому. Или к самой себе.

– Тихо, да? – сказал Тюльпин, осторожно переводя дыхание. И опять с гадливым чувством понял, что заискивает, что одним только тоном своим просит не бить слишком больно.

Лариса оттолкнулась от ствола и снова пошла впереди.

– Попрощался с шофером? – спросила не оборачиваясь.

«Нервничает, – понимающе усмехнулся Тюльпин. – Пусть. Так или иначе, она сделает сегодня все, что задумала. Интересно, как? С чего начнет? А впрочем, начало уже было...» И вдруг ему стало так жаль себя, что он даже остановился, – все, чего он так боялся, потеряло всякое значение, будто сегодняшняя поездка была давным-давно и он лишь вспомнил о ней...

Постепенно из тумана возникали стволы деревьев, они становились плотнее, словно загустевали. Где-товерху пролетели большие тяжелые вороны, и, когда они уже скрылись за верхушками деревьев, послышался их надсадный хриплый лай.

– Как жизнь, Тюльпин? – спросила Лариса.

– Нормально. Скоро придем.

– Хандра кончилась?

– А разве она у меня была?

– Тогда отлично.

«Вот оно, – подумал Тюльпин. – Начинается. Еще один порыв. Но сейчас она этого не сделает, иначе потеряется весь смысл вылазки. Хотя... Может и сейчас. Обозлившись на свою нерешительность. Но помогать не буду. Уж мне-то совсем ни к чему...»

Верно шагая в потертых, намокших кедах, Тюльпин настороженно, из-под надвинутой на лоб вязаной шапочки, смотрел по сторонам. К осени у него всегда было суеверное отношение, будто он уже когда-то жил именно в этой осени. И тогда с ним произошла невеселая история. Дело даже не в том, веселая она или нет, – произошло тогда с ним нечто важное... Может, любовь. Или детство. Или умирал он этой вот осенью, в этом лесу. И сейчас тоже должно что-то произойти. Еще эти вороны...

– Вороны – дурная примета, – сказала Лариса, и он замер. Но женщина замолчала, и Тюльпин облегченно перевел дух. «Пронесло», – подумал он и усмехнулся, поймав себя на этой мысли.

Приметы... У каждого они свои, каждый по ходу жизни окружает себя всевозможными знаменами, освящает их верой, молчанием, поклонением. И вряд ли сможет объяснить, почему одни приметы кажутся ему хорошими, другие – дурными. Вороны пролетели – это в самом деле плохо. Напрасно он согласился на эту поездку, ох напрасно. Хотя то, что произойдет сегодня, здесь, могло произойти каждый день и где угодно – дома, на улице, в автобусе... В постели. А что, в постели даже проще. Тюльпин напоминал себе человека, который, стоя на краю пропасти и пытаясь отойти от нее, лишь скользит, перебирает ногами, оставаясь на месте, и сваливает, сваливает вниз последние камни, последнюю опору.

Когда они вышли к реке, опять начал накрапывать мелкий бесшумный дождь. Река казалась неподвижной, и только по желтым плывущим листьям можно было заметить быстрое упругое течение. Сбросив рюкзак, Тюльпин вошел в чащу и вскоре вернулся с охапкой мокрых коряг. Свалив их в кучу, начал разводить костер.

– Может... бог с ним, с костром? – спросила Лариса.

– Думаешь, не разгорится?

– Не знаю... – Она отошла к берегу. Подняв камень, Лариса размахнулась и бросила его подальше от берега. В тумане раздался глухой, замедленный всплеск.

«А ведь она совсем не смотрит на меня, – озадаченно подумал Тюльпин. – То отходит в сторону, то вперед убегает, дело какое-то находит... Значит, ничего не отменяется. Так, наверно, охотник не может смотреть в глаза своей собаке, решив ее прибить или продать. Впрочем, чего это я... Уже с собакой начинаю себя сравнивать... Слабак. Будешь слабаком, если...»

– Лариса! – позвал он.

– Да! – отозвалась она, не оборачиваясь.

«Как по телефону, – подумал он. – Мы разговариваем как по телефону, не глядя друг на друга, не видя... Сначала дома, потом в автобусе, теперь вот здесь... Если бы только разговоры... А то и любовь тоже получается какая-то телефонная. Ложится она в темноте, будто стыдится кого-то, кто тоже в комнате, а может, и в одной с нами постели...»

– Алло! – крикнул Тюльпин.

– Я слушаю! – отозвалась Лариса. – Говори же!

– Да это я так, дурака валяю.

– А! – Она так сумела произнести это «А!», будто поняла для себя что-то важное или убедилась в чем-то невеселом.

Костер долго шипел, плевался, но наконец вспыхнул, затрепетал, хватаясь слабыми огоньками за ветки. Тюльпин сходил к реке, зачерпнул в котелок воды и повесил его над костром. Лариса вынула из рюкзака целлофановый мешочек с уже начищенной картошкой.

– Ненормальная погода какая-то, – проговорила она. – Все серое. Небо, река, деревья, туман – все. И мы с тобой тоже. Вон смотри – песок серый, листья на березе, твоё лицо... И у меня серое, да?

– Это утро такое. Днем все будет отлично.

– Ты оптимист. Хорошо тебе.

Тюльпин остро почувствовал в ее словах насмешку. «Ты оптимист». Простоват, мол. Все равно ничего тебе не понять, не дано, дескать.

– Могу поделиться, – сказал он.

– Да нет, не надо. А знаешь, я бы сейчас выпила немного.

– Для храбрости? – спросил он и тут же пожалел о своих словах. – Бросай тушенку, закипает, – быстро добавил Тюльпин.

– Дай мне нож... Раскрой, а то я ноготь сломаю. Смотри, только костер красный, а все остальное серое.

– И ногти у тебя красные.

– А при чем здесь ногти? – спросила она с едва уловимым раздражением, и Тюльпин про себя отметил, что этот ее вопрос не больно уместен, пустоватый какой-то вопрос.

– Не вздумай облизывать нож, я вчера наточил его, – сказал он.

– Знаешь, я хотела тебе сказать...

– Не держись за стойку, перевернешь котелок! И не облизывай нож!

– Что ты все время перебиваешь меня? Что страшного в том, что я оближу этот твой нож? Разве ты не хочешь, чтобы мой язык был покороче?

– Вряд ли это поможет. – И он снова пожалел о сказанном.

– Поможет? В чем? Кому? – Через пламя костра она посмотрела на него большими серыми глазами. – Что ты имеешь в виду?

– Мало ли... Соль в кармашке, и ложки там же... Надо было деревянные взять, в лесу смотрятся деревянные. – Тюльпин привычно переводил разговор на простые и безопасные темы. Это продолжалось уже больше месяца, и сейчас он почувствовал, что выдыхается. И потом, это не могло продолжаться бесконечно – Лариса оборвет разговор на полуслове, любой разговор, и выскажет все, что задумала. – Пусть еще покипит немного, – добавил Тюльпин, заметив, что Лариса собирается что-то сказать. – Не помешает.

Лариса усмехнулась, отошла к берегу, села на обкатанный ствол рухнувшего дерева, запрокинула голову. Мелкий дождь шел прямо на ее лицо, на закрытые глаза.

Откуда-то издалека, из тумана, донесся слабый рокот. Он становился сильнее, затихал, снова нарастал. Прошло еще несколько минут, и стало ясно – моторная лодка. Она вынырнула из-за поворота и вначале казалась сгустком тумана, катящимся по поверхности воды, а когда проносилась мимо костра, Тюльпин смог различить ее высоко поднятый нос, на котором сидела маленькая черная собака, и одинокого человека на корме. Он помахал рукой и исчез в тумане. Поднятая волна неторопливо подошла к берегу, лизнула ствол, на котором сидела Лариса.

– Послушай, – сказала она, – а как ты смотришь, если я...

Тюльпин замер, не решаясь взглянуть на нее, не уверенный, что справится со своим голосом, сможет произнести что-нибудь.

– Ну? – не выдержал он ее молчания.

– Как ты смотришь, если я... уйду?

– В лес? – спросил Тюльпин, хотя сразу понял, что она хочет сказать.

– Нет, не в лес... От тебя.

– Ты решила сообщить мне об этом в форме вопроса? – Он даже удивился тому, что смог произнести эти слова, изобразить вполне сносную улыбку.

– Мне кажется, ты сам видишь.

– Что я вижу?

– У меня такое чувство, что нам лучше расстаться.

– Твои чувства больше ничего тебе не подсказывают?

– Как тебе сказать... У нас последнее время все идет вкривь и вкось. Мы перестали понимать друг друга.

– Блажь. Невозможно перестать понимать. Так не бывает.

– Бывает, Володя.

– Ты у меня спросила, как я к этому отношусь? Отвечаю – отрицательно. Нам нельзя расставаться. У тебя кто-то появился?

– Нет. – Она покачала головой. – Никто у меня не появился. Ты ведь это знаешь.

– В чем же дело?



– Понимаешь... Кончилось. Все кончилось. Я не могу к тебе относиться, как раньше. Это произошло не сразу... Ты изменился, Володя... Ты уже не тот, кем был два года назад, когда с Панюшкиным на Проливе работал.

– Блажь! – резко сказал Тюльпин. – Чистой воды блажь.

– Два года назад на Проливе ты был другим.

– Конечно! Я был на два года моложе!

– Дело не в этом, Володя. Ты же знаешь, что дело не в этом. С возрастом у тебя все в порядке. Тогда в тебе было что-то от самого Панюшкина... Была какая-то дерзость, готовность рискнуть, доказать свою правоту... Был свежий воздух. Наверно, Панюшкин умел делать людей сильнее, чем они были на самом деле. А теперь...

– Что же теперь? – с вызовом спросил Тюльпин.

– Затхло стало, Володя. Дома ты так часто доказываешь мне, что твой новый начальник тщеславен, труслив, недалек, что... Мне кажется, ты больше всего боишься, чтобы он не догадался об этих твоих мыслях.

– Зачем же лезть на рожон?

– Вот видишь, какие у тебя слова появились... А помнишь любимый тост Панюшкина? «Вперед, на рожон!» И все вы подхватывали, звенели стаканами, у вас горели глаза, и вы в самом деле лезли на рожон, и как лезли... А сейчас... Зачем ты позволяешь ему ухаживать за мной?

– Не могу же я запретить ему улыбаться!

– О, Володя! А помнишь, как однажды на Проливе мне вот так же улыбнулся тот тип с усиками, помнишь, что было после этого? А сейчас даже скандалы у вас какие-то робкие, будто каждый боится высказаться до конца.

– Ты решила уйти, потому что у меня плохой начальник?

– Ты стал слабее.

– И поэтому от меня нужно бежать?

– Дослушай. Ты не стал слабее физически. У тебя не уменьшилась зарплата, даже повысилась. Должность тоже. По островным понятиям вполне приличная. Послушай меня, не перебивай... когда ты работал с Панюшкиным...

– Я знаю, ты влюблена в него!

– А ты разве нет? Так вот, сейчас у тебя другой начальник, мелкий и пакостный. И ты перенимаешь его словечки, поведение, почему-то опасаясь его, даже мне запретил говорить с ним так, как я считаю нужным.

– Ты наговоришь!

– Володя, ты не веришь, что я смогу поступить с ним разумно, справедливо, порядочно? Не веришь? Ну, скажи! Или у тебя совсем другие опасения? Ох, Володя... Хочешь, скажу главное?

– Ну?

– Только не говори мне «ну»... На Проливе ты мне «ну» не говорил... Так вот, главное наше с тобой различие... Ты многослойный, многозначный, жизнь воспринимаешь какими-то различными потоками... На работе ты один, со мной другой, с начальством третий, с друзьями – четвертый... И везде искренний. Ты считаешь, что твоя жизнь на производстве – это одно, дома – совсем другое... Я так не могу. И дома, и в твоей конторе, и на Проливе, и здесь я все та же... Хорошо это или плохо. И Панюшкин...

– Хватит о нем!

– О! – с улыбкой протянула Лариса.

Она сидела все так же на стволе, упершись руками в серый сырой песок и запрокинув голову так, что дождь шел на лицо. Но теперь в ее позе не было напряженности. Она сказала то, что хотела, и это оказалось не очень сложно.

На этот раз лодка выскочила совершенно неожиданно и с ревом пронеслась в нескольких метрах от берега. Собака, напрягшись, сидела на носу, плотно прижав уши и опустив морду.

– Если он покажется еще раз, я запущу в него горящим поленом, – сказал Тюльпин. – Иди, – обратился он к Ларисе, – суп готов.

Не ожидая, пока она поднимется, не глядя – поднимается ли, он пошел к лесу и, постепенно уменьшаясь в размерах, растворился среди деревьев. Минут через пять Тюльпин вернулся с небольшой плоской бутылкой, облепленной елочными иголками. После того как он ополоснул ее в реке, бутылка сверкнула оранжевыми бликами «Старки».

– Откуда? – спросила Лариса.

– Мы зарыли ее в прошлый раз, когда приезжали компанией... Помнишь? Уцелела. Тебе налить?

– Немного.

Они молча выпили, молча съели суп, от которого шел запах костра, запах смолистых веток и сырой осени. Ели прямо из котелка и больше всего боялись, чтобы не столкнулись их ложки, чтобы не встретиться взглядом. Тюльпин первым отложил ложку, и Лариса тут же последовала его примеру.

– А теперь уходи, – сказал он негромко, без выражения, будто думал о чем-то другом, более важном.

– Что? – не поняла она.

– Уходи. Я останусь здесь. А дома... Забери все свои... Все, в общем. Чтоб и духу там твоего не было. Не обижайся, я в полном смысле слова – всю парфюмерию, трикотаж, галантерею... И раскрой окна. Я вернусь вечером.

Она перевела взгляд на костер, потом стала рассматривать свои ногти. Но, словно спохватившись, поднялась, собрала рюкзак, затянула ремни. Тюльпин, положив руки на колени и опустив на них подбородок, смотрел в огонь. Его вязаная шапочка с легкомысленным помпоном была надвинута на самые брови.

– Послушай, Вовка, ну не думала я, что так получится. Понимаешь... Может быть, все к лучшему, а?

– Что к лучшему? То, что не только я тебя теряю, но и ты меня?

– Не все же утраты печальны, – начала было она и замолчала.

Тюльпин посмотрел ей в глаза, они были совсем рядом, совсем близко, усмехнулся, и Лариса неожиданно приникла к нему, уткнувшись лицом в холодный мокрый рукав брезентовой куртки.

– Ты звони, – сказал он. – А сейчас иди. А то, знаешь, я могу подумать, что ты передумала... Ты ведь не передумала?

Лариса поднялась и, не смахнув слез, не оглядываясь, быстро пошла по тропинке. Вскоре ее фигура скрылась среди деревьев.

– Счастье утраты, – проговорил Тюльпин вслух. – Это надо же – счастье утраты... – И вдруг, вскочив, бросился бежать вслед за Ларисой, не представляя даже, что скажет ей, как поступит. Он бежал по высокой мокрой траве, через кустарник, но у первых же деревьев остановился и, постояв, побрел назад. – Как паршиво, как же мне сейчас паршиво, – повторял он. – А может быть, я ее люблю? – И кривая усмешка скользнула по его лицу. – Нет... Какая это, к черту, любовь! С любовью можно бороться, пересилить как-то, наплевать, в конце концов... А здесь... Баба как баба... А надо же... Как паршиво... Будто отрезали что-то...

Подойдя к костру, Тюльпин увидел, что в плоской бутылке еще на треть осталось «Старки». Он выпил ее прямо из горлышка и тут же запустил пустую бутылку на середину реки. Едва упав в воду, она перевернулась кверху горлышком и поплыла по течению.

Все с той же застывшей на лице кривой усмешкой Тюльпин подошел к рюкзаку, еще не зная, что ему там понадобилось. Присев на корточки, долго перебирал рыболовные сна-

сти, какие-то консервы, прихваченные на всякий случай, деревянные ложки – оказывается, он их все-таки взял с собой, не забыл. Потом на глаза ему попала белая капроновая веревка. Подержав в руке, он уронил ее, выпустив из пальцев, снова взял, хмыкнул про себя с каким-то новым выражением – чуть ли не злорадно. Не выпуская веревку из рук, Тюльпин поднялся, постоял над костром и медленно направился к опушке, на ходу разматывая моток.

Он еще не знал, как поступит дальше, но ни к чему не обязывающие действия, когда он искал веревку, а Тюльпин искал все-таки веревку, потом разматывал ее, забрасывал на толстую ветку лиственницы, отвлекали его от саднящей боли в груди. Эти двусмысленные приготовления, а он понимал их двусмысленность, потому и хмыкал время от времени не то над собой, не то над людьми, которых мысленно видел вокруг себя, эти приготовления и тешили Тюльпина, забавляли его. Будто был у него в запасе ход, о котором никто не догадывался, никто даже предположить не мог, что он, Тюльпин, способен на нечто отчаянное. Понимая, что никогда не поздно свои приготовления обратить в шутку, он продолжал неторопливо подтягивать веревку, потом укрепил ее хорошим узлом, медленно, будто в забытии, сходил к костру за ножом и обрезал лишний конец.

Где-то глубоко в сознании, настолько глубоко, что он даже не понимал этого, светилась надежда на то, что Лариса вернется и, застав его за столь необычным занятием, спохватится, ужаснется, повиснет на нем, а он с нездешним уже взглядом отрешенно отодвинет ее в сторону. Но Лариса не возвращалась, и Тюльпин без помех заканчивал свое дело.

– Надо же, вороны прокаркали, – бормотал он. – Еще на рассвете, когда день только начинался... Вороны – это плохо, это дурная примета... И собака на лодке тоже дурная примета... И водитель рассказал про своего погибшего дружка...

Вряд ли Тюльпин знал, как поступит в последний момент, какие чувства переселят, какая мысль окажется решающей, да и будет ли у него время думать в последний момент. А пока, пока он ощущал в пальцах легкую дрожь и с удивлением ловил себя на том, что не в силах остановиться, сбросить непонятное оцепенение. Но понимал – стоит ему все бросить, и снова навалится непереносимая боль в груди. А так вроде не до нее сейчас, вроде есть кое-что поважнее.

– То-то будет шороху, – снова хмыкнул Тюльпин с непонятной мстительностью в голосе. – То-то будет шороху...

Покончив с веревкой, он пошел в лес, долго бродил там, разыскивая подходящую корягу и не торопясь с этим. Найдя в завале вывороченный пень, Тюльпин приволок его к лиственнице и установил как раз под веревкой – с вызывающей белизной светилась она на фоне темных стволов. Взобравшись на пень, с трудом сохраняя равновесие, Тюльпин начал завязывать петлю...

– Что ты делаешь? – услышал он голос Ларисы.

И облегчение, и страшная усталость навалились на него, удержаться на пне ему удалось, только ухватившись за конец веревки. После этого он смог оглянуться.

– А, это ты, – проговорил Тюльпин как мог равнодушнее. – Решила вернуться?

– Я вспомнила... Автобус придет только вечером... Весь день впереди.

– И вся жизнь впереди, – хмыкнул Тюльпин.

– Что ты все-таки делаешь?

– Петлю.

– Зачем? Отвечай, у тебя ведь спрашиваю!

– Надо.

– Вовка! Что ты задумал?!

– Хочу продукты привязать повыше... не тащить же их обратно. Вдруг мы еще когда-нибудь придем на это место... В новом составе. А? Чего не бывает... – Тюльпин обернулся и увидел, что мертвенно-бледная Лариса медленно опускается в траву. – А ты что подумала?

– Да нет, ничего... Я сейчас... Голова что-то закружилась...

– А я уж решил, что ты передумала, что захотела повременить, – бормотал Тюльпин, затягивая очередной узел. – Я уж подумал было, – он еще раз перебросил веревку через ветку, – подумал было, что ты того... Соскучилась. – Он хохотнул, и Лариса содрогнулась от неожиданности – это был не его смех. Каким-то пошловатым он ей показался, чужим. Перед ней был совсем другой человек, не тот, с которым она приехала сюда, который нервно вздрагивал при каждом ее слове, а его болезненная напряженность передавалась и ей. Теперь же, наблюдая за его хозяйственной возней, она и в себе ощутила наступившую пустоту, словно ничего ужасного не произошло, и все колебания, сомнения, которые мучили ее последние месяцы, оказывается, и гроша ломаного не стоили.

– Жена найдет себе другого, – пропел Тюльпин вполголоса, – а мать сыночка никогда... Жена найдет себе дру-у-угого, а мать...

– Тебе помочь? – спросила Лариса, чтобы оборвать пение.

– Помоги, – охотно ответил он. – Неси рюкзак, там еще что-то осталось... Хотя если мы останемся здесь до вечера, то и привязывать нечего... А?

– Может быть.

– У тебя как с аппетитом? – поинтересовался Тюльпин. И этот его вопрос прозвучал спокойно и равнодушно. Ничего в нем не было, кроме предложения поесть.

Лариса поняла, что он отшатнулся от нее. И тот человек, который носится в лодке по реке, окажись здесь, был бы ему куда ближе. С Тюльпиным они уже чужие. И как между чужими людьми, между ними еще могло быть все, что угодно, кто знает, может быть, вместе они проведут не только остаток дня, но и остаток жизни, но ничто уже не будет трогать их слишком уж, до саднящей боли в груди.

И Тюльпин прислушивался к себе. И чувствовал – отпустило. Что-то в нем перегорело. «Отчего бы?» – подумал он. И долго не мог поймать мысль, принесшую ему облегчение. Но неожиданно она пришла сама, четкая и ясная. «Если она, зная, в каком я состоянии, в каком я идиотском, больном и беспомощном состоянии, все-таки решила уйти, и не к кому-то, кто ждет ее и весь исстрадался, а просто уйти, поскольку скучно стало... Тот ли она человек, за которого я принимал ее...»

– Скажи, а ты... – Лариса замялась, подыскивая слова. – Ты с самого начала... ну, когда возился с этой веревкой... с самого начала хотел привязать именно продукты?

– Конечно, – хмыкнул Тюльпин и по-новому, как она никогда не видела, передернул плечами. – А что же еще?

Не ответив, Лариса отошла к реке. Тюльпин понимающе посмотрел ей вслед – за последний час у него появился какой-то понимающий, оценивающий прищур в глазах. Что делать, подпорченный ум всегда пронзительнее и жестче судит о людских поступках. А дошло до Тюльпина то, что Ларисе было бы куда приятнее, если бы речь шла не только о консервах, а то и вовсе не о консервах. Но Тюльпин и самому себе не мог бы сейчас сказать наверняка, чего больше было в его затее – искреннего отчаяния или практичной предусмотрительности. «По-разному могло получиться, – подумал он с шалой улыбкой. – По-разному...»

## ОВЕРКИЛЬ

Катер бурлил воду и медленно-медленно приближался к причалу. А едва коснулся ободраным бортом деревянной балки, Горбунов, оттолкнувшись, грузно спрыгнул вниз. Доски причала прогнулись под ним, на секунду из них вынырнули шляпки гвоздей и тут же скрылись. Горбунов долго смотрел, как отходит катер, а убедившись, что все в порядке, свел руки за спину и размеренно зашагал к поселку.

Уже выходя из порта, он остановился на деревянном мосту, закурил и стал смотреть в быструю и мутную осеннюю реку. Где-то в сопках прошли дожди, и по реке плыли корни, сучья, листья. Сморщив тяжелый лоб, Горбунов наблюдал, как все это выносилось в море, рассеивалось и постепенно исчезало из виду. Море было серым и спокойным. Только тучи у горизонта и ветер, пока еще солнечный ветер, вызывали тревожное беспокойство.

Не докурив, Горбунов положил сигарету на палец и щелчком бросил ее в воду. Описав дугу, она мелькнула на волне и скрылась. А потом, уже не видя ни речки, ни сигареты, он все смотрел в это место, пока кто-то не окликнул его.

– Привет, шкипер! – услышал он за спиной.

– Привет, – ответил Горбунов, хмуро глянув из-под бровей в спину уходящему.

Стояла теплая сухая осень, и сопки вокруг поселка покрылись разноцветными пятнами. Каждое дерево умирало по-своему, выбрасывая напоследок краски, которые таились в нем все лето. Горбунов шел, не отрывая взгляда от серого деревянного тротуара, и отставшие доски под его ногами шлепали с каким-то неприятным, раздражающим звуком.

Когда он подошел к дому, солнце было уже затянуто тучами, а ветер стал резче и холоднее. Горбунов толкнул ногой калитку и, не глядя, как она забилась, затрепетала за его спиной, зашагал к дому. Заглянул в комнату, в коридор, словно надеясь увидеть там кого-нибудь, и, не раздеваясь, сел к столу. С силой потер жесткий, небритый подбородок. Подойдя к зеркалу в деревянной рамке, долго рассматривал себя, угрюмо переводя взгляд со слипшихся под шапкой волос на густые брови, на крупный обветренный нос, сухие, потрескавшиеся губы. Потом, будто собравшись с духом, глянул себе в глаза. И отвернулся. Ему показалось, что кто-то идет по двору. Резко повернулся, посмотрел в окно. Нет. Тропинка к крыльцу была пуста.

Подойдя к кровати, Горбунов сел, откинулся на подушку, заложил руки за голову. И через полчаса заснул. А проснулся от грохота ставен. За окном была ночь, в стекло стучали частые капли дождя. Горбунов прошел на кухню и зажег свет. Часы показывали около девяти вечера. Надев брезентовый плащ с капюшоном, он погасил свет и вышел на улицу. Ветер рванул длинные полы, загрохотал ими, а по капюшону забарабанили капли.

Где-то до двадцати пяти лет Горбунов жил с ощущением, что каждый день, каждая встреча, поездка могут все изменить, перевернуть вверх ногами. Он жил в радостном ожидании перемен. Не географических перемен – они для него уже тогда стали буднями, Горбунов ждал перемен в жизни. И не важно – хуже будет или лучше. Хорошо уже то, что будет «не так». А теперь поймал себя на мысли о том, что ничего уже не изменится. Куда бы он ни бросался, что бы ни предпринимал, все останется так, как есть. Он мог уехать на Камчатку, на Курилы или материк, но везде его ждал такой вот порт из двух приземистых сараев и причала, буксировочный катер, поселок...

– Старостью подуло, – сказал Горбунов вслух, но этих слов не услышал бы и попутчик. Их сразу подхватило порывом ветра и унесло в море. – Когда человек не верит в перемены, это значит подуло старостью. И тут уж ничего не поделаешь. Хоть волком вой, хоть соловьем свищи.

Ветер все усиливался, и Горбунов в ста метрах от моря чувствовал на губах соленые брызги, а по его капюшону стучали не только капли дождя, но и сорванные ветром верхушки

волн. Начинался шторм. Увидев свет в окне портовой диспетчерской, Горбунов направился туда.

– Во! – закричал ночной дежурный Вадюхин – старик, вечно небритый и вечно пьяный. – Пришел! Слава те господи! Сейчас отчаливаем!

– Кто отчаливает? Куда?!

– В море! В море! – кричал Вадюхин с каким-то истеричным восторгом.

– Ну ладно, хватит голосить. – Горбунов сел на койку, не торопясь, вытащил сигарету и закурил. – Что там у тебя?

– Плашкоут! Понимаешь, растакая твоя душа – плашкоут оборвался! Унесло!

– Ну и черт с ним. – Горбунов сидел на койке, провалившись в растянутую сетку, и, казалось, никакая сила не поднимет его сегодня.

– Это как? – Вадюхин стоял перед ним, чем-то напоминая ободранного, но воинственного петуха. Тоже в брезентовом плаще, пиджаке с оттянутыми поллитровками карманами и тельняшке, старик тяжело дышал.

– Ты что пил-то сегодня? – спросил Горбунов.

– Что надо, то и пил! Свое пил! Во!

– Ложись, отдыхай. Я посижу.

– Люди! Люди на плашкоуте! – вдруг завизжал старик. – Понял?! Люди!

– Какие люди? С чем плашкоут-то?

– Со щебенкой.

– Откуда же люди?

– Может, парни посидеть забрались, в картишки перекинуться... Мало ли... Их и оборвало. Я уж за ребятами с твоего катера послал... И за тобой тоже. Вот ты первый пришел. Факел какой-то исделали и машут. – Вадюхин подпрыгнул к окну и, на секунду замерев, обернулся к Горбунову: – Во! Машут! Смотри!

Горбунов тяжело поднялся, неохотно подошел к окну, бросил по дороге сигарету в ведро у двери и, прикрыв глаза от света, долго всматривался в темноту.

– Что-то мелькает, – сказал он.

– То-то и оно, что мелькает! А ведь перевернуться могут, ой как запросто! – Вадюхин горестно покачал головой.

– Щебенка, говоришь, на плашкоуте?

– То-то и оно, что щебенка! Перевернутся! Как говорится – оверкиль! Вверх килем – и будь здоров! Во!

Горбунов запахнул плащ и вышел на крыльцо. Отсюда ясней был виден маленький, пропадающий огонек где-то далеко в море. Он хорошо представлял себе, что сейчас там делается. Плашкоут, эта железная неповоротливая баржа, в любой момент может стать бортом к хорошей волне, и щебенка переместится на один борт. Пусть немного, но переместится. Следующая волна сделает больше. А потом, потом плашкоут попросту перевернется. А море холодное. В нем долго не продержишься. Полчаса... вряд ли хватит кого на полчаса. Минут через десять подошли ребята. Молча выслушали Вадюхина, повернулись к Горбунову.

– Что будем делать, шкипер?

– А что делать, – вздохнул Горбунов. – Не хочется сейчас в море идти... Нехорошее оно. А идти придется. Никуда не денешься. Потом никуда не денешься, – уточнил он. – Так что, хотим мы того или нет, надо идти. Вот такие, братцы, дела.

– Может, к начальству сходить?

– Зачем? Если скажет не идти, ты что же, не пойдешь? – В словах Горбунова прозвучала издевка. – А если скажет, что идти в море все-таки надо, у тебя усердия прибавится? Пошли.

Катерок отошел от берега и будто провалился куда-то. Горбунов слышал, как что-то кричал с причала Вадюхин, потом его голос потонул в гуле ветра. Огонь впереди был виден, только

когда катер вскидывало на волну. А потом он и вовсе пропал. То ли факел там у них догорел, то ли водой его залило. Но катерок шел вперед. Иногда слышался надсадный вой мотора, и все знали – винт повисал в воздухе. Давно уже исчезли огни порта – несколько лампочек на столбах, а катерок все шел и шел. Вспыхивающий время от времени прожектор упирался в сплошную стену дождя.

Плашкоут они заметили как-то неожиданно близко. Все вдруг увидели чуть правее курса темную массу. Тяжелую баржу гнало в море, и остановить ее сейчас, развернуть, подтащить к берегу казалось совершенно невозможной затеей.

– Кто прыгать будет? – спросил Горбунов.

– Давайте решать... – Рулевой, молодой парень с торчащей из фуфайки тонкой шеей, закусив губу, прожектором ощупывал щебенку на плашкоуте. – Груз в норме, – сказал он. – Сдвинулся, но в норме. Можем успеть.

– Прыгнешь? – спросил его Горбунов.

– Попробую.

– Не надо пробовать, – сказал механик, не отрывая взгляда от плашкоута. – Придется, шкипер, тебе прыгать. Больной он. С постели поднялся.

Катер был уже совсем рядом, и теперь главное – не столкнуться, не грохнуться о стальную многотонную громаду. Механик прожектором высвечивал место на плашкоуте, куда можно прыгнуть. Катер то уходил вверх, взмывая над бортом, то вдруг оказывался далеко внизу. Горбунов прыгнул в тот момент, когда катер, достигнув верхней точки, начал падать. Он с силой оттолкнулся от металлической ступеньки и, пролетев метра полтора над пропастью, упал на плашкоут. Его с силой швырнуло в сторону, бросило, и он очнулся уже лежавшим на щебенке, вцепившись пальцами в острые мелкие камни. Хотел было подняться, но тут яркий свет прожектора ударил ему в лицо.

– Держи! – услышал он крик. – Бросаю!

Горбунова охватила радостная злость. Он удачно прыгнул, пролетев над смертью, а сейчас был уже на плашкоуте, держал в руках конец троса. Все шло отлично. Горбунов перебрался на нос, закрепил трос и, как только прожектор с катера снова ударил ему в лицо, сорвал с головы кепку и помахал ею.

– Давай! – крикнул он. – Готово!

Трос натянулся, напрягся, и плашкоут, будто почувствовав чью-то твердую руку, стал медленно разворачиваться носом к берегу, к ветру, к волнам. Горбунов еще раз проверил прочность узла, прислушался к рокоту катера – мотор работал ровно, уверенно. Полез было за сигаретами, но нашел в кармане лишь табачную кашицу. И только тогда вспомнил, что где-то здесь, на плашкоуте, должны быть люди. Он удивился, забеспокоился. Хватаясь за поручни, быстро направился в рубку. Она была пуста. Горбунов кинулся в кубрик. И облегченно вздохнул, увидев, что он задраен изнутри.

Сначала постучал кулаком, потом, схватив осколок камня, начал колотить им по крышке. «Живы!» – радостно подумал он, услышав внутри движение. Крышка откинулась, и он привычно, не глядя, соскользнул вниз. Сначала увидел парня, который задраивал за ним люк. Это был Анатолий, портовый шофер, длинный, поджарый детина с лохматой головой.

– Привет, Толик! Что, перетрухал? Эх, крыса ты сухопутная! – счастливо засмеялся Горбунов, довольный тем, что имеет самое что ни на есть прямое отношение к спасению этого парня. – Щебенка-то уже на правый борт пошла, еще минут пятнадцать и...

Горбунов замолчал и невольно оглянулся назад, куда неотрывно смотрел Анатолий. В самом углу, на узкой койке, сидел второй человек. Горбунов шагнул в угол, наклонился и при свете тусклой, задраенной мутным стеклом лампочки увидел Веру, продавца единственного в поселке магазина. Она не сдвинулась с места, только нерешительно, слабо протянула руку вперед, будто защищаясь.

Горбунов замедленно посмотрел на ее мокрые волосы, глянул в черные, с косинкой, глаза, тронул пальцами кофту, опустил глаза на крепкие, тяжеловатые колена.

– Дела, – протянул он, вытирая рукавом лицо, по которому до сих пор стекала вода. И подумал: «Вот это уже настоящий оверкиль!»

– Дела, – повторил он и скривился в нервной усмешке, – Тяжелый у тебя хлеб, – сказал Анатолию. Плашкоут качнуло, и Горбунов невольно сел на койку. И увидел, как сжалась, подобрал под себя ноги, Вера, как она глубже втиснулась в угол.

Не говоря больше ни слова, Горбунов встал, натянул кепку и поднялся на палубу, с силой захлопнув за собой крышку люка. Несколько минут он стоял, ухватившись за какой-то выступ. Потом зашел в рубку. Горбунов смотрел с таким выражением, будто видел через стекло безоблачное небо, искрящиеся на солнце волны. Он любовно гладил отполированный ладонями штурвал, надежный и верный круг. Именно надежности и верности не хватало ему очень долго, и сейчас он радовался, находя то и другое в этой тяжелой посудине. Где-то в глубине резал ледяную воду руль – на него тоже можно положиться, пока его не разобьет о камни, о прибрежные скалы. И палуба под ногами. И вот рубка.

Горбунов ощущал прочное единство, чуть ли не родство с этим немало поплававшим плашкоутом. И с катером, который из последних сил тянул трос. Трос... Его захлестывала волна. Горбунов слышал, как он трется, скрежеща скользит по железной обшивке плашкоута, и понимал – ему сейчас тяжело. Он невольно сдерживал дыхание, кряхтел, словно это он, шкипер, держится одной рукой за катер, а другой – за плашкоут. Когда трос показывался из воды и плашкоут делал рывок вперед, Горбунов расслаблялся, переводил дыхание.

Волной в рубке выбило стекло, и теперь дождь попеременно с солеными морскими брызгами хлестал прямо в лицо. А Горбунов улыбался. Впереди его ждет залитый дождем порт, поселок, завтра он увидит из окна сопки, нависшие над поселком. Влажные, душистые сопки – при одном только воспоминании о них в груди Горбунова сладостно защемило, заныло, и он даже придержал дыхание, стараясь подольше сохранить в себе эту счастливую боль. Да, наутро поселок будет засыпан желтыми листьями, прилипшими к деревянным тротуарам, почерневшим заборам, стенам домов, а море будет серым и виноватым, а в самом запахе осеннего воздуха будет что-то тревожное, и вспомнятся дни, о которых вроде совсем забыл, а они, оказывается, живут в тебе...

И вдруг все изменилось. Горбунов сразу догадался, в чем дело. Лопнул трос. Плашкоут начал как-то охотно и легко подчиняться ветру, волнам. Катер по инерции прошел еще около сотни метров, и огни его почти пропали в темноте. Потом они показались снова, уже в стороне, и Горбунов понял, что ребята разворачиваются. Но когда плашкоут развернуло бортом к волне, Горбунов увидел, что щебенка, мокрая, тяжелая, пропитанная водой щебенка, чуть зашелестев, сдвинулась с места и подползла к самому борту. Плашкоут накренился, и Горбунов в немыслимой надежде стал ждать, что он снова выровняется. Волна прошла, плашкоут немного подался назад, но остался наклоненным.

Теперь все решат минуты. Даже если ребята успеют подойти и снова зацепить трос, даже если они успеют это сделать... Нет, ничего не изменится. Плашкоут обречен. Так и есть. Еще один удар волны, и первые мелкие камешки посыпались в море. От другого борта щебенка ушла уже на метр-полтора. Еще три-четыре волны... Надо что-то делать... Секунды... Минута в лучшем случае... Минута... Десять секунд прошло. Плашкоут, казалось, из последних сил, скрипя старыми железными суставами, пытался выпрямиться, но слишком тяжел груз, слишком велика волна...

Прыгать в воду? Его не найдут... Правда, можно сбросить круг и привязаться к нему, ребята будут искать... На круге он продержится. А те... голубки... Черт бы их побрал!



Горбунов гулко пробежал к кубрику, попытался открыть люк, заколотил по нему сапогами, и сразу же там внизу послышалось движение. Крышка откинулась, он соскользнул вниз и тут же захлопнул ее за собой.

– Сейчас перевернемся... – сказал Горбунов, ни на кого не глядя. – Оверкиль. Держитесь за что-нибудь.

– Как перевернемся?! – спросил Анатолий.

Он оттолкнул Горбунова и начал открывать люк. Но было уже поздно. Плашкоут накренился, их резко бросило на стенку, потом отшвырнуло от нее, и они со всего размаха упали на потолок. Раздался грохот падающих вещей, визг Веры. Наступила темнота.

Горбунов почти увидел, как сотни тонн камня, легко оторвавшись от палубы, рухнули вниз и понеслись ко дну, рассеиваясь и захватывая с собой всю живность. Он почти увидел, как щебенка вспучила и замутила дно, как беспомощно и судорожно двигали клешнями раздавленные крабы, замирали под тяжестью рыбы, а на поверхности в свете прожектора поблескивало мокрое и помятое дно плашкоута.

– Фонарь есть? – спросил Горбунов.

– Есть, – ответил Анатолий. – Вот...

Вспыхнул слабый луч. Они сидели на потолке, а над ними в мокрых следах от сапог темнел пол кубрика. Через некоторое время под ногами появилась лужа. Вода начала просачиваться внутрь. Поплыли папиросы, шапка, бумажки...

– Что делать будем, шкипер? – спросил Анатолий.

– А ничего... Ждать будем. Хотя и смысла в этом нету. – Последние слова Горбунов добавил не потому, что уже не верил в спасение, а просто, чтоб не сглазить.

– Что... и ничего нельзя сделать?

Вера заголосила в углу, уткнувшись лицом в замусоленную плоскую подушку.

– Чего молчишь?! – вдруг заорал Анатолий. – У тебя же спрашивают! Что можно сделать?

– Ты ничего не можешь, – ответил Горбунов. – Все, что мог, ты уже сделал. Теперь отдыхай.

Горбунов представил себя на месте ребят. Они должны знать, что мы в кубрике, что можем продержаться какое-то время. Им нужно зацепить плашкоут и тащить его к берегу. Там можно добраться до нас, дожждаться отлива... Значит, надо продержаться. Скоро здесь будет жарко, подумал он. Воздух уже того, давит...

– Слушай, шкипер, – заговорил Анатолий. – Может, нам уже не выбраться... Я хочу сказать тебе...

– Ну, скажи. Интересно даже.

– Глупо все вышло, по-дурному.

– Да уж куда глупее... Лучше бы вам в крытую машину забраться. Или, на худой конец, в сарай... Век бы никто не догадался. Да мало ли куда можно спрятаться... Вон свинарник второй год пустует.

– Не надо, шкипер. Когда живешь в такой дыре, разве знаешь, в какую сторону тебя завтра занесет.

– При чем же дыра? Дыра там, откуда уйти нельзя, где держат против воли. И город с троллейбусами дырой может стать... Такой дырой! А если человек свободный – нет для него дыры.

– Знаешь, шкипер, ты как хочешь... ну... подонком я себя чувствую, пойми.

– Не потому ли, что со мной связался? – негромко спросила Вера. – Может, запачкался?

– Ты не обижайся, Вера, на тебя я бочку не качу.

– Ладно, кончайте, – сказал Горбунов. – Хватит.

Говорить стало трудно. Прошло уже более часа с тех пор, как они перевернулись. Воздух сделался будто загустевшим. Вода, просачиваясь снизу, сжимала его все плотнее. Они стояли

в темноте молча, ледяная вода поднялась уже почти до колен. Снаружи слышался грохот волн, перекатывающихся через дно плашкоута. Шторм не утихал.

А у ребят трос лопнул, думал Горбунов. Старый оказался трос. Свяжут? Или сумеют обрывком зацепить? А если пойдут за новым тросом, нас потерять могут. Нет, не пойдут... Да, ведь на катере один больной... Тяжело. Плашкоут обратно в море погнало... Дела...

Неловко повернувшись, Горбунов толкнул коленом что-то твердое, плавающее в воде. Оказалось – лопата. А если попробовать... Ведь между дном плашкоута и полом чуть ли не полметра... Там должен быть воздух. Свежий, чистый... Горбунов встал на табуретку и принялся лопатой долбить пол над головой. Если удастся пробить дыру, они смогут продержаться еще какое-то время. Он долбил, долбил, стараясь, чтобы острие лопаты попадало в одно место вдоль волокон досок. Горбунов почувствовал, как ему на лицо падают мелкие щепки. Но тут же, оступившись, поскользнулся и рухнул в воду. И сразу намок, отяжелел.

Удары гулко и болезненно отдавались в голове, будто кто-то колотил по ней деревянным молотком, колотил долго, по одному месту, и Горбунов снова взял лопату. Время от времени он скреб ею по потолку, нащупывал поврежденный участок, снова бил в это место. И наконец услышал шипение. Уходит воздух, подумал он.

Лопата застряла и уже не выпадала из щели. Горбунов начал вертеть ее, наклонять и, оттянув, выломал доску. Сверху хлынул свежий воздух, но тут же поднялась вода, плашкоут заметно осел. И вдруг Горбунов понял, что их только двое – Вера и он. Не слышалось дыхание третьего человека. Разведя руки, он пошел в одну сторону, в другую – Анатолия не было. Тогда он опустил руки, стал шарить ими в воде и, наконец, наткнулся на шофера. Горбунов с трудом поднял его над поверхностью воды, отдышался и принялся бить Анатолия ладонью по щекам. Бил сильно, зло, не переставая, пока шофер не закашлялся, не задержался у него в руках.

– Стой здесь, – прохрипел он, – держись за поручни.

Горбунов прошел к столу. Намокшая, пропитанная ледяной водой одежда сковывала движения, казалась непомерно тяжелой. Он забрался на стол, нашел дыру над головой и с усилием выломал еще одну доску, потом, вставив черенок лопаты, как рычагом, выломал еще одну. Теперь над ним была дыра, в которую можно было пролезть.

– Вера, – позвал он. – Давай сюда... Доберешься?

Он наугад вытянул в темноте руки и, ухватив Веру, помог ей взобраться на стол.

– Лезь туда, – сказал он. – В дыру...

– А ты?

– Лезь, говорю!

Горбунов подсадил ее. Вера ухватила за металлическую переборку.

– Я не могу, – проговорила она сдавленно. – Здесь тесно... Задохнусь...

– Лезь... Лезь! – хрипел Горбунов, подсаживая Веру.

Потом он пошел к Анатолию, подволок его к столу и приподнял парня так, чтобы его голова оказалась в дыре.

– Тащи его! – сказал он Вере. – Можешь?

– Ну что же ты... – услышал он голос Веры.

– Не получится... Тяжел я... Не протиснусь.

Передохнув, он прошел в угол, стал на какой-то ящик, ухватившись за холодные мокрые поручни. И, уже теряя сознание, понял, что, даже если умрет, не разожмет пальцев.

...Очнулся Горбунов от ярких искр, которые сверкали у него перед глазами. Он увидел автогенное пламя и жидкие капли металла, с шипением падающие в воду. Потом, когда его уже вынесли на берег, приподнялся на локтях и оглянулся. Плашкоут косо и беспомощно сидел кормой в воде, будто мертвый кит, выброшенный на берег. Его ржавое помятое дно было вспорото, в нем зияла дыра... Как рана, подумал Горбунов.

– Благодарю Вадюхина! – будто издали услышал он и увидел над собой несчастного и радостного старика. – А то что хотели делать, злодеи, – еще в море автогеном вскрыть! Зато пили бы вас, как консервную банку из-под... из-под морской капусты. Вадюхин догадался, предупредил! Сначала бульдозером на берег подтащите, а потом уж режьте на доброе здоровье! Во дает старик, а! Скажи спасибо Вадюхину!

– Ну, спасибо, Вадюхин, – Горбунов улыбнулся и тронул руку старика. Вечно небритого, кричащего и пьяного старика. Он откинулся на носилках и почувствовал запах мокрых листьев, услышал шум моря, чуть скосив глаза, увидел влажные сопки. «Выживу, – подумал он успокоенно. – Теперь-то выживу».

## НЕАПОЛИТАНСКИЙ РОМАНС

Однажды летним вечером, когда сопки подернулись лиловой дымкой и стали похожи на скалы Неаполитанского залива, старший инженер проектного отдела стройтреста Грышук твердо решил изменить своей жене. Он отбросил все колебания, сомнения и сказал себе, что откладывать – хватит. И вовсе не потому, что была у него девушка, которую он любил больше всего на свете и которая любила его. Не было у Грышука девушки, и любовь не испепеляла его душу. Да и не хотел он всего этого, потому что из рассказов товарищей, из анекдотов и расхожих историй хорошо знал, что такие вещи, как красивая девушка или большая любовь, ни к чему хорошему привести не могут. На память невольно приходили зареванные жены, перепуганные дети, суды по разделу имущества, собрания коллективов, посвященные моральному облику, понижения в должности, урезанная зарплата... Короче – криминал.

Но когда друзья спрашивали у него, изменял ли он жене, Грышук в детали не вдавался и разговора не поддерживал.

– Было дело, – коротко отвечал он, улыбаясь задумчиво и отрешенно.

А дела-то никакого и не было. Это угнетало Грышука. Он болезненно переживал свою неполноценность и страдал. Конечно, диплом об окончании института придавал ему уверенность так же, как и должность старшего инженера. Его уважал начальник. Друзья относились к нему всерьез. Машинистки из отдела не прочь были переброситься с Грышуком двусмысленной шуткой. Они видели, что это как-то будоражит его, во всяком случае, не оставляет равнодушным.

Что касается внешности, то и здесь Грышук мог быть спокойным. Сто семьдесят два сантиметра рост. В меру широкие плечи, прямые ноги. Правда, у него слегка наметились залысины, но их вполне можно было принять за естественную высоту лба.

И все-таки каждый раз, когда заходил разговор о любовных приключениях, Грышук настораживался, опасаясь, что кто-то догадается о его постыдной тайне. Он искренне и с удовольствием смеялся над чужими неудачами, слегка презирал людей за неполное среднее образование, беззлобно потешался над опальными сотрудниками, но не мог, не мог отдаться радости до конца. Для полного духовного спокойствия Грышуку нужно было маленькое, совсем небольшое чувство превосходства. Иначе он ощущал подавленность, жизнь теряла краски, становилась серой, унылой.

А еще душа Грышука время от времени требовала новизны, тревожной неизвестности. Разумеется, чтобы удовлетворить эти требования, можно было уйти с рыбаками на полгода в море или ответить начальнику, что его замечания неуместны, или устроить на собрании маленькую заварушку... Много чего можно было сделать, но все это было чревато неприятными последствиями, а Грышук не любил неприятные последствия.

Мысль об измене терзала Грышука все больше. Женщин, которых он видел в автобусах, на улице, на работе, Грышук невольно рассматривал как возможных кандидатов, придирчиво отмечал их недостатки, браковал, и все это делал со скучающим, маскирующим выражением лица. Если раньше у него была просто идея, чистая и свободная, как утренний ветерок, то теперь стоило ему лишь мельком взглянуть на девушку, как перед ним словно на экране проносились картины, одна другой красочней и бесстыднее. Девушка проходила мимо, а он уже искал глазами вторую, третью. Утренний ветерок постепенно превращался в ураган, разрушающий все радости обычной жизни.

Грышук стал рассеянным и раздражительным. Даже читая о любви хорошей девушки к парню, он ревновал, будто это была его девушка, но зато, если парня постигала неудача, Грышук искренне радовался, как при свершении какой-то высшей справедливости.

Все это не могло продолжаться слишком долго, и, наконец, настал вечер, когда Грышук принял решение. Будто предчувствуя, какое испытание ожидает его, он еще утром надел белую рубашку, пристегнул капроновый галстук с вечным узлом и начистил туфли. Сидя в отделе, Грышук все больше волновался, ощущая в груди непривычный холодок. Он несколько раз выходил в туалет и обеспокоенно прикинул к тусклому, шелушащемуся зеркалу. Из глубины мутного стекла, будто из какого-то другого мира, на него смотрел бледный человек с затравленными глазами.

После обеда Грышук совсем растревожился. Во рту у него было сухо, приходилось поминутно облизывать губы. Но в нем росла и уверенность в правильности принятого решения, от обычной вялости не осталось и следа.

– Нашего Грышука сегодня не узнать! – сказала со смехом первая красавица отдела тонконогая Лидочка.

Грышук лишь улыбнулся. Улыбка получилась достойная и пренебрежительная, не говоря уже о том, что она была хороша и сама по себе. Улыбка бледного от волнения, но решительного молодого человека, умеющего держать себя в руках. Еще вчера он продолжил бы разговор, постарался бы подольше задержать на себе Лидочкино внимание, выспрашивая, что же именно произвело на нее впечатление, почему ей показалось, что он выглядит иначе, но сегодня... Сегодня он уже был человеком, образ жизни которого слишком далек от понимания этой конторской красоты.

Когда прозвенел звонок, известивший об окончании рабочего дня, Грышук растерялся, но быстро совладал с волнением. В конце концов, подумал он, чем я хуже кого бы то ни было? Чем? У меня диплом, высшее образование, отличная должность, в трудовой книжке несколько благодарностей, а их просто так не записывают. Я на хорошем счету, меня ценит начальство. Каждый раз, когда заходит разговор об отпуске, начинается целая канитель, будто без меня и работать некому. В сейфе месткома нет ни одного протокола без моего выступления, в президиуме доводилось сидеть, а это не фунт изюма. Избирали секретарем собрания. Ближайшие перевыборы – и я в месткоме. А встанет вопрос о руководителе отдела – список кандидатур возглавит моя фамилия. И если я иду сегодня на это, то просто потому, что мне это нужно для работы. Да, *для работы*. Я не хочу, чтобы какие-то посторонние мысли отвлекали меня от основного. Жена? Мне нужно убедиться в ее превосходстве. Вот так.

Грышук быстро, почти механически складывал в стол карандаши, резинку, лезвия, логарифмическую линейку. Потом снял лист с доски и, свернув его, тоже сунул в стол. Упершись руками в чертежную доску, он постоял несколько секунд, резко оттолкнулся, как бы отбрасывая последние сомнения, и быстрой деловой походкой вышел из здания.

Вечер был тихий и теплый. А когда солнце зашло за сопки, они в самом деле стали похожи на лиловые скалы Неаполитанского залива. Грышук много раз видел их на открытках, репродукциях с картин старых мастеров и, не задумываясь, закаты на знаменитом заливе считал почему-то образцом настоящих закатов. К здешним, островным закатам, восходам, к здешним веснам и осеням Грышук относился как к чему-то самодельному, грубому. Даже не догадываясь об этом, но к людям, с которыми он жил, работал, Грышук тоже относился лишь как к неполноценному подобию людей, живущих на берегах того залива. О женщинах и говорить не приходилось, и в подметки не годились тем юным, загорелым и отчаянным созданиям, которых он видел на цветных открытках, журнальных обложках, на фотографиях, сделанных в районе прославленного залива.

Легко и уверенно, сунув одну руку в карман брюк, а во второй держа сигарету, Грышук спускался к главному проспекту. В столовой он выпил стакан вина, потом в кафе – еще один. И почувствовал себя в норме.

Продавщица из магазина подарков, толстенькая, рыжеватая, красивая девушка, у которой Грышук спросил, что она делает сегодня вечером, внимательно посмотрела на него и подозвала подругу из соседнего отдела:

– Вот этот товарищ с круглыми глазами спрашивает, что я делаю сегодня вечером, представляешь? В баню, дяденька, иду, в баню.

Грышук выскочил из магазина, зашел в сквер и обессиленно опустился на скамейку рядом с какой-то женщиной. В его ушах все еще звенел смех девушек. Переведя дух, он скосил взгляд на женщину и подумал, что она не так уж и плоха. Правда, одного с ним возраста... И туфли у нее в пыли, и маникюр далеко не свежий... И юбка какого-то спецовочного цвета, но...

– Между прочим, – сказал он, – у нас давно не было такого заката. Очень красивый.

Женщина промолчала. Но он почувствовал, что промолчала она участливо, просто его слова не обязывали к ответу.

– Как на Неаполитанском заливе, – сказал Грышук.

– А вы видели... закат на Неаполитанском заливе?

– У меня есть открытка...

– А-а...

– Правда, здесь нет кипарисов, пальм...

– А разве под Неаполем растут пальмы? – удивилась женщина.

– А разве нет? – Грышук не знал, растут ли пальмы под Неаполем.

Посмотрев на женщину в упор, он понял, что она ему нравится. Он на скорую руку представил, как будет изменять с ней, и то, что увидел, понравилось ему. Женщина была загорелая, со светлыми выгоревшими волосами. Недавно с материка, подумал он. Грышук увидел ее ровные белые зубы, свежие губы... Долгий поцелуй, подумал он. И закрывает глаза... И поднимается на цыпочки... Это если мы будем целоваться стоя...

– Как вас зовут? – спросил Грышук взволнованно и с легкой хрипотцой.

– Скажите, а вам жена разрешает знакомиться с женщинами в скверах?

– Жена?

– Господи, у вас на лбу написано, что ваша жена – полная и тихая женщина, обожает праздники, что, когда выпьет, любит попеть, потанцевать, что сейчас она уже поглядывает на часы... Авоська при вас? Вы все купили?

Все сказанное о жене было чистой правдой. Грышук растерялся. За доли секунды он обидчиво подумал о том, что девушки с Неаполитанского залива никогда бы не позволили себе такую бестактность, как упоминание о жене. Еще он подумал, что у этой женщины красивая высокая шея, а у его жены – короткая и некрасивая. Подумал о том, что незнакомка, работая скорее всего каким-то кладовщиком или счетоводом, позволяет себе вот так разговаривать с ним, со старшим инженером, будущим начальником отдела. Подумал о том, что, если бы она перешла работать в их отдел, он бы поговорил с ней иначе. И понял, что ничего у него с ней не получится, она слишком трезва, ограничена...

Поднимаясь со скамейки, он прощально посмотрел на ее смеющийся рот, в ее глаза, наполненные каким-то шалым смехом, и уже открыл было рот, чтобы сказать нечто значительное, убивающее наповал, но не успел.

– Идите, – сказала женщина почти по-матерински. – Идите, пока еще не кончился закат и ваша жена...

– Оставьте в покое мою жену! – сказал Грышук неожиданно тонким голосом. – Всего хорошего.

– Счастливо. И мой вам совет – идите домой.

– Неужели вам больше некому советовать? – едко спросил Грышук.

– Идите, – нежно повторила женщина.

Грышук снисходительно улыбнулся. Выйдя на проспект, он быстро зашагал от сквера, постепенно приходя в себя. К этому времени уже стемнело, загорелись щербатые неоновые рекламы, огни светофоров стали ярче и тревожней, а разноцветные окна настраивали на особый, вечерний лад, когда хочется чего-то совсем иного, чем днем. Сегодня Грышук хорошо знал, чего хотел, но он смирился с поражением, и это странным образом успокоило его.

Он зашел в гастроном «Рябинка», взял маленькую чашку черного кофе и устроился за столиком в углу. Рядом с ним оказалась высокая девушка с прямыми длинными волосами и в очках. Обхватив тонкими пальцами чашку, девушка через стекло витрины смотрела на улицу. Еще подходя к столику, Грышук отметил, что у нее вполне приличные ноги. Когда он мельком заглянул ей в глаза, то сквозь сверкающие грани стекол очков увидел выражение, знакомое по цветным фотографиям, привезенным с далеких заливов, проливов, островов и полуостровов. И неожиданно для самого себя сказал что-то естественное и простое.

– Ваш кофе уже, наверное, остыл, – добавил он, когда девушка промолчала. – Может, заменить?

– Замените, – улыбнулась она. Грышук поднялся, подошел к прилавку и заказал еще одну чашку.

– Двойной, пожалуйста, – сказала девушка.

– Двойной, пожалуйста, – повторил Грышук продавцу.

– Спасибо, – сказала девушка, когда он поставил перед ней чашку. – Вы тоже пьете двойной?

– Да нет... нормальный.

– Ну, нормальный – это не кофе. Это так... Бурда, рассчитанная на сердечников, почечников... Чтобы выпить настоящего кофе, надо заказывать хотя бы двойной.

– Когда мне хочется выпить, я вообще заказываю что-нибудь другое, – улыбнулся Грышук.

– Можно и вино, – согласилась девушка. – Но... кофе лучше.

– И вам никогда не хочется вина? – спросил Грышук взволнованно и чуть хрипло.

Девушка внимательно посмотрела на него и улыбнулась. Грышуку не понравилась ее улыбка. Он исподтишка осмотрел себя, но все было в порядке. Когда он так же внимательно окинул взглядом девушку, то поразился ее какой-то неуловимой изысканности. Впрочем, сказать, что он поразился, будет неверно. Он просто отметил ее утонченность, что ли, так и не поняв, из чего она складывалась. Перстень с продолговатым камешком, белая блуза, очки без оправы... И быстрая улыбка... Казалось, будто она по-разному улыбалась каждому услышанному слову.

– Вина? – переспросила девушка. – Нет, почему же, иногда хочется. Но чаще – кофе. Оно дает... как бы это... более качественное опьянение.

– Какое? – не понял Грышук.

– Даже не знаю, как вам объяснить... Пьянея, человек приходит в состояние... ненормальное, верно? Ну так вот, когда он пьет вино, это состояние заключается в том, что он начинает видеть меньше. Понимаете? А когда он пьет кофе, он тоже пьянеет, но видит и чувствует гораздо больше, чем обычно.

– Интересно, – сказал Грышук. – Я такого не замечал.

– Потому что вы пьете одинарный кофе, – ответила девушка и опять улыбнулась. – Возможно, правильное было бы сказать – ординарный.

Грышук этого слова не знал, но на всякий случай улыбнулся.

– Как вас зовут? – спросил он.

– А как вы думаете?

– Мм... Я все равно не угадаю.

– И не надо. Зачем вам угадывать... Скажите так...

– Тогда... Дина.

– Ну что ж.... Согласна. Пусть будет Дина. Это не так уж плохо. Во всяком случае, лучше, чем... А вас, наверно, зовут Федя?

– Нет, на Федю я не согласен.

– Почему?

– Я надеялся на что-то более... Мм...

– Понятно. Тогда давайте сделаем вот что... Раз уж я все равно у вас в долгу за кофе, – девушка открыла свою сумочку и вынула маленький сверток. – Снимите свой галстук.

– Зачем? – не понял Грышук.

– Сейчас увидите. Снимите же...

Она протянула к нему руки, нащупала сзади под воротником зажим и легко разъединила резинки, на которых держался его зеленый капроновый галстук. Грышук совсем рядом увидел ее глаза за стеклами очков, улыбку, почувствовал запах незнакомых духов и вдруг опять заволновался, поняв, что у него с этой девушкой завязываются какие-то отношения, а как раз этого он боялся больше всего. Он опасался, что ему придется говорить о своей жизни, выслушивать, что будет говорить о себе девушка. Вот если бы он мог изменить жене с кем-нибудь молча, даже без придуманных имен, без разговоров...

– Ну вот, – сказала девушка. – Так даже лучше. – Она развернула сверток – там оказался новенький серый галстук. Легко повязав его, она затянула узел, опустила воротник рубашки.

– Капроновый галстук вам не нравится? – спросил Грышук.

– Вы же не ходите по улицам в калошах на босу ногу!

– Это одно и то же?

– Почти. Вон зеркало, посмотрите...

Грышук обернулся. Серый галстук из тусклой ткани с тремя красными квадратиками придал ему какую-то вечернюю нарядность, новизну.

– Спасибо, – сказал он. – У вас всегда в сумочке есть лишние галстуки?

– Нет, не всегда. Теперь, если вы не против, я согласна назвать вас Сергеем.

– Ну, это куда ни шло...

– Вот и отлично! Мне пора, Сережа. До свидания.

– Как пора? Вы уходите? К... куда?

– Туда, где меня ждут... Как и вас, наверно.

– Так что... на этом мы и расстанемся?

– Вы напрасно со мной познакомились. Я же не в вашем вкусе... Вам будет хлопотно со мной... И потом... вы спешите... Разве нет?

– Я не спешу, опаздываю – да. Но не спешу.

– Знаете, Сережа... Вы уверены, что вам хочется еще посидеть здесь? Со мной? Нет, вы в этом не уверены... На вас подействовал вечер и... кофе. Это все кофе. Я ведь предупреждала, что после него видишь гораздо больше, чем есть на самом деле... Завтра утром я буду...

– Я тоже по утрам предпочитаю не подходить к зеркалу... И даже бреюсь на ощупь. Поэтому у меня и виски всегда кривые... Вот посмотрите...

И Грышук, повернув голову в одну сторону, потом в другую, показал девушке куцые пучки шерсти возле ушей.

– Действительно кривые, – засмеялась она.

– Но я провожу вас? – сказал Грышук.

– Проводите... Это недалеко.

Когда они выходили, им в глаза ударил яркий свет фар. Взглянув в этот момент на девушку, Грышук подумал, что она в самом деле не так уж красива и уж несколько не похожа на женщин с картин старых мастеров. А именно их он считал образцом, на них походила его жена. Поэтому он и женился на ней в свое время. У него перед глазами вдруг возникла открытка:



громадная, уходящая в темную бесконечность кровать, а на ней – большая розовая женщина с волнующим животом, лежащим на алой ткани. Да, кажется, на алой. И подпись: «Даная». Потому-то он и незнакомку неожиданно для себя назвал Диной. Все-таки созвучно. И красиво. Но, скосив взгляд на девушку, Грышук подумал, что та кровать была бы для нее велика, да живот ее не лежал бы так свободно и независимо, как у той женщины. Но он был благодарен девушке за то, что она сама избавляла его от хлопот, связанных с прощанием. Зная, что через несколько минут они разойдутся в разные стороны, Грышук почувствовал себя легко и непри-  
нужденно.

По темной улочке они вышли к берегу. Наступила тихая темная ночь, и не было видно даже волн, которые шуршали у самых ног. Потом выглянула луна, и низенькие пенистые барашки засветились тускло и переменчиво. Начинался отлив.

– Идемте, – сказала девушка. – Уже поздно.

Она поправила ему галстук, улыбнулась, и Грышук неожиданно для самого себя обнял девушку и поцеловал в щеку. Возможно, он полагал, что это единственный способ попрощаться и избежать разговоров, которые неизбежно ведут к завязыванию отношений, а может быть, он просто не совладал с собой, изнуренный вечерними неудачами. Однако, как бы там ни было, обняв девушку, Грышук вдруг почувствовал, что на него навалились все те ощущения, которые он переживал лет десять назад и о которых совсем забыл. Страх, что все это сейчас кончится, оборвется навсегда, усиливал ощущение горького счастья – девушка была рядом и будет с ним еще несколько мгновений. Но время сейчас не имело никакого значения. Секунды это будет продолжаться или годы – неважно. Сжав ладонями ее худенькие плечи, Грышук с трудом про-  
глотил подкативший к горлу комок. Было в этом прощании что-то уж очень печальное, будто он расставался не только с этой безымянной девушкой, но и со своей молодостью, с самим собой, с той жизнью, к которой все время так безнадежно стремился.

Счастье кончилось. Все еще обнимая девушку, Грышук уже страдал оттого, что больше это не повторится, что вряд ли он осмелился даже подойти к ней, если они случайно встретятся на улице. Эта мысль растрогала его, и он увидел, как фонарь невдалеке раздвоился и поплыл. Грышук плотно сжал веки, потом разжал их. Фонарь снова был на своем месте, но на ресницах остались маленькие тяжелые слезинки. Девушка хотела было освободиться, но Грышук еще крепче прижал ее к себе, не в силах сказать ни слова, не имея слов. Так они постояли некоторое время, и Грышук с чувством, начисто забытым, целовал ее в щеки, шею, губы. Девушка ладонью провела по его лицу и отшатнулась:

– Боже, что с вами?!

– А черт его знает, – ответил он хрипло и естественно. Взглянув на бледное в лунном свете лицо девушки, снова припал к ней, молча, с каким-то глухим стоном, как припадают пересохшими губами к ручью после долгого блуждания в пустыне. Грышук почувствовал, как оживает его парализованная, скованная душа, будто выбрасывает слабые зеленые листья, завязи будущих цветов, становится зыбкой и уязвимой. И все вокруг тоже теряло жесткость и незыблемость. Грышук скорее ощутил, чем понял, что все вокруг установлено не раз и навсегда, что возможны перемены – большие, неожиданные. Он испугался своего открытия, но это был радостный испуг. В изменчивости, которую он увидел вокруг, была сила более высокого порядка, чем в скованности и жесткости. И короткое, как вспышка, прозрение вдруг осветило его, а впрочем, вполне возможно, что ослепило. Он понял, что слишком слаб, слишком привязан к очень многим вещам, чтобы вот так, сразу, безнаказанно перейти в другой мир, живой и переменчивый.

Грышук, промывав что-то невнятно, оторвал себя от девушки и, не оборачиваясь, быстро зашагал по плотному мокрому песку, который еще совсем недавно был под водой. Грышук не знал, осталась ли девушка на месте, или тут же ушла, или идет следом, он не хотел этого знать,

об этом помнить, он закрыл всего себя наглухо, намертво и шагал, слыша только, как упруго скрипит песок у него под ногами.

Луну снова затянуло тучами, и уже нельзя было даже определить, где она была минуту назад. Сквозь низкий туман только ближние огоньки городка светились тускло и так-то беспомощно. А рядом с Грышуком, прямо у его ног начинался океан, этот большой черный провал, из которого доносились слабые всплески невидимых волн, будто какое-то доброе чудовище выбралось из глубин и перебирало губами водоросли.

Грышук остановился и долго всматривался в темноту. Ни одного огонька не увидел он, океан был пугающе пуст и безжизнен. Грышук представил, как эта бесконечная поверхность воды круто выгибается, повторяя форму планеты, и где-то очень далеко отсюда, с другой стороны, начинает светлеть и постепенно наливаться голубизной. Он представил, как в это самое мгновение розовые утренние лучи освещают скалы Неаполитанского залива, и с мстительным наслаждением почувствовал, что нет в нем ни малейшего желания быть там.

Подходя к своему дому, он почти успокоился. Но когда увидел свет в задернутом кухонном окне, скользнувшую по занавескам тень жены, сердце его заколотилось, как у человека, который возвращается домой из далекого и опасного путешествия. Едва жена открыла дверь, Грышук широко перешагнул порог и прижался к ее большой груди, к ее большому животу, как прижимаются дети к юбке матери, ища успокоения и защиты. Грышука охватило такое чувство, будто он избежал большой опасности, будто он мог совершить страшное преступление, и только случайность да выдержка уберегли его от падения.

## ГОЛОСА РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

Июнь – это не тот месяц, который стоит проводить в Макарове, и, что представляют собой номера макаровской гостиницы в июне, я уже знал. Сырой воздух, тяжелые, отсыревшие подушки, холодные простыни, от одного вида которых пробирал озноб, да еще эти разноцветные потеки на стенах... Влажными были даже шторы. Я всегда старался побыстрее выбраться отсюда.

Едва я вошел в номер, как с кровати поднялся этот человек. Высокий, худой, с большими растерянными глазами. О нем так и хотелось сказать – белобрысый, хотя это слово не очень-то вяжется с человеком, которому давно за сорок. Вряд ли он был счастлив или, на худой конец, доволен собой. Он стоял у кровати, переминался с ноги на ногу и никак не мог придумать, что бы этакое сказать.

– Извините, – вдруг проговорил он высоким голосом, – вы здесь будете жить?

– Жить не жить, а переночевать придется.

– Да, место не очень уютное...

– Давно на острове? – спросил я.

– Третий год. Скоро будет три. – В его голосе прозвучало что-то детское. Так отвечает ребенок, когда хорошо знает, о чем его спрашивают.

– Не надоело?

– Какое это имеет значение, – улыбнулся он. – В этой гостинице я живу уже третий год... Работаю экономистом на бумажной фабрике... И они на семьдесят процентов оплачивают мои гостиничные счета...

– Кажется, вам здесь не очень весело?

– Откровенно говоря, мне никогда не было очень весело... Да я и не думаю, что к этому нужно стремиться... к веселию, – ответил он. – И знаете, коль уж нам придется ночевать вместе, давайте познакомимся... Меня зовут Костя.

Пока я раздевался, вешал плащ в размокший шкаф с незакрывающимися дверцами, он стоял у окна и смотрел, как рваные клочья тумана медленно продвигались между сопками, затопляли распадки, расползались по улицам. Верхушки сопки, еще видные за пеленой дождя, были отрезаны от земли туманом и, казалось, плавали в воздухе. Туман проникал в дома, в квартиры, просачивался сквозь одежду. В этот день я проехал полсотни километров в кузове грузовика и чувствовал, что туман добрался до самых костей. Нет, такую погоду не назовешь приятной.

– А между тем месяц назад здесь была отличная погода, – сказал Костя, не оборачиваясь.

– Что же с ней случилось?

– А вы не знаете? – обрадованно обернулся он. – С севера пошли льды Охотского моря. Они только сейчас начинают откалываться. И плывут на юг вдоль всего острова. Отсюда и похолодание, и дожди, и эти вот туманы...

– Сколько же им еще идти?

– В июле погода установится.

– Ну спасибо, утешили, – улыбнулся я и направился к выходу. И пока шел – чувствовал, что он смотрит мне в спину, мучительно хочет что-то сказать и никак не решится. Я невольно обернулся и увидел чуть ли не ужас в его глазах. Потом уж до меня дошло – он боялся остаться один.

– Пойдите, – сказал он так, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову, – а не поужинать ли нам вместе? – и столько вымученной непосредственности было во всей его фигуре, в улыбке, во взгляде. – Надо же чем-то заняться... Идти некуда, а сегодня суббота... завтра воскресенье...

Увидев, что я согласен пойти с ним, Костя засуетился, подтянул ремень на брюках, набросил на себя серый пиджак с обвисшими плечами, одним шагом пересек комнату и согнулся перед низко повешенным зеркалом, чтобы пригладить длинные прямые волосы. Он прошел вперед, показывая мне, где ресторан, и я видел, как развеваются его широкие штапельные штанины. Коридор был узким, мы не могли идти рядом, и Костя поминутно оглядывался, будто хотел убедиться, что я не нырнул в какую-нибудь боковую дверь. По всему было видно, что ему в самом деле приятно оттого, что мы идем в ресторан. Его глаза заговорщицки светились.

Я уже бывал в этом ресторане с маленьким залом, лиловыми стенами, желтыми занавесками и жирными полиэтиленовыми пленками поверх скатертей. Мы сели за столик в самом углу. Подошла официантка и сказала, что, кроме пива, ничего нет. Но, выслушав путаную речь Кости, обещала еще раз поискать.

– Вы знаете, – сказал Костя, когда она отошла, – все-таки самое страшное бывает не в тех случаях, когда нечего выпить или не на что. Это пустяки. На нет и суда нет. Хуже всего, когда не с кем выпить.

– А бывает и такое?

– Ого! Еще и как бывает! И вот тогда становится паршиво по-настоящему. Не скажу, что водка доставляет мне такую уж радость, но она стала таким ускорителем общения, вы согласны? Темпы жизни скоростные, времени у всех мало, добиваться духовной близости обычными методами, темпами... слишком накладно... По времени накладно. Вы согласны?

Я был согласен. Не один раз приходилось замечать, как людям после целого дня стерилизованных отношений на работе хотелось самого простого – беззаботной болтовни о прошлогоднем снеге, о завтрашней погоде, оторванной накануне пуговице. И под шумок, между прочим, можно сказать и то, о чем плачут, перепившись, о чем душа болит. В случайной забегаловке за вторым или третьим стаканом белого крепкого можно рассказать о том, как вышла замуж твоя девушка, после чего перестал писать твой друг, почему тебе, кладовщику или снабженцу, неудобно встречаться со своими однокашниками.

Конечно, затевать такие разговоры на трезвую голову просто неудобно. Особенно с близким человеком. Обо всем этом можно говорить лишь с самим собой. Впрочем, пьяный разговор и есть разговор с самим собой. Кто знает, удержится ли хороший приятель от соблазна воспользоваться знанием твоих слабых мест. А случайный человек... Он забудет обо всем через минуту, даже если и услышит тебя.

Подошла официантка и молча поставила на стол бутылку сухого алжирского вина, заливные морские гребешки и красные ломти жареной кеты. В этот день по всему острову твердо выдерживалось рыбное меню. Во всех столовых, ресторанах, кафе можно было взять только дары моря.

– Знаете, – сказал Костя, – раньше стакан вина всегда давал ощущение подъема, свободы, раскованности... Ощущение весны. Ты молод, ты все можешь, впереди большая, интересная жизнь, тебя ждет прекрасная девушка, и не позже как сегодня вечером ты познакомишься с ней, если не знаком до сих пор...

– В свое время все ощущали это и без вина.

– Да. В свое время. Потом такое ощущение давало вино. А сейчас, – Костя поднял не очень чистый стакан и грустно посмотрел на его грани, – сейчас оно дает только аппетит. Ну и раскованность, скорее – развязность. Но его продолжаешь пить, надеясь снова испытать то первое безалкогольное опьянение... Смотрите! – вдруг крикнул он, показывая в окно. – Это он!

– Кто?

Но Костя не слышал. Мелькнула по залу его длинная фигура, и через несколько секунд он уже пробежал по улице мимо окна.

– Что? Один уже хорош? – спросила официантка, проходя мимо. Она брезгливо повела плечом и вскинула голову. Есть такие официантки, они никогда не упускают случая показать, как презирают людей, которых им приходится обслуживать.

Костя вернулся минут через пять взволнованный, с радостными глазами.

– Это надо же! – воскликнул он. – Здесь, в центре острова, в этом глухом поселочке, встретить друга! Это надо же, а!

– Что ж вы не позвали его?

– Да звал я! Спешит! Обещал вечером заглянуть в номер. Представляете, будет встреча!

И все. Начиная с этого момента, Костя говорил только о своем друге, о том, как они встретятся и что нужно сделать, чтобы эта встреча прошла по-настоящему. Мы наспех выпили вино и поднялись наверх. Костя тут же развернул бурную деятельность. Он упросил дежурную заменить простыню на столе, сам подмел комнату, протер сырую пыль на подоконнике, заново перестелил все койки. Потом ему пришла в голову мысль достать музыку, и он кинулся было в соседний номер за магнитофоном, но я остановил его:

– Зачем? Не будете же вы с другом танцевать...

– И то верно, – согласился Костя.

И тут же принялся накрывать на стол. Он принес из ресторана несколько морских салатов, договорился о втором. Видя, что встреча намечается по высшему разряду, я достал из чемодана пару баночек с икрой, и Костя совсем растрогался. Он надел свежую рубашку и сбежал за утюгом, чтобы выгладить брюки.

– Оказывается, совсем не обязательно пить вино, чтобы ощутить себя молодым, – сказал я.

– Но мы же пили вино! – засмеялся Костя. Потом он вспомнил, что видел в магазине какие-то хитрые деликатесы, и умчался, попросив меня не отходить от телефона, потому что может позвонить друг.

– Звонил? – спросил он, когда, запыхавшись, вбежал в номер.

– Нет, не звонил.

По улице все так же медленно плыл туман, шел мелкий прямой дождь. Вершины сопот совсем скрылись в низких тучах. Костя не отходил от окна, надеясь увидеть друга, как только тот покажется на улице, чувствуя неловкость оттого, что столько времени он уделяет другу, Костя поворачивался ко мне.

– Представляете, мы жили в одном дворе, и его дом был как раз напротив нашего. По вечерам там всегда собирались доминошники... И, когда мы садились вместе, нас никто не мог высадить!

Мы с ним учились в одной школе, только он был на два года старше. Он был ужасно рыжим, а сейчас у него ни одной веснушки... И все зубы вставные. Я у него спрашиваю, когда ты успел так состариться? А он смеется. Он всегда смеется...

Знаете, это большое дело – иметь друга, к которому можно прийти, что бы с тобой ни случилось... Прийти и рассказать, не ожидая ни сочувствия, ни утешения, ни любопытства... Просто рассказать, и все.

Я хотел было включить свет, но Костя попросил меня не делать этого. Будто включить свет, до того как придет друг, будет каким-то предательством по отношению к нему.

Ожидание становилось для Кости невыносимым, и он вышел в коридор, прошелся несколько раз из конца в конец. Я слышал, как, проходя мимо нашей двери, он замедлял шаги, чтобы услышать звонок. Наконец, уже в девятом часу, Костя не выдержал. Он надел плащ, фуражку с длинным прямым козырьком и резиновые сапоги.

– Пойду встречу его, – сказал он. – А то еще в темноте гостиницу не найдет... Он остановился у какого-то сослуживца. Он здесь проездом...

Из окна я видел, как Костя, постояв несколько минут на крыльце, поднял воротник и решительно двинулся в темноту.

По радио передавали концерт для рыбаков дальних экспедиций. Передача называлась «Голоса родных и близких». Если бы не обращения: «Здравствуй, Петя», «Здравствуй, Миша», «Здравствуй, Ваня», – можно было бы подумать, что все время одна и та же женщина обращается к одному и тому же мужчине...

«У нас все хорошо... Скорее возвращайся... Удачного лова... Скучаю... Целую... жду...»

Где-то у самых американских берегов тоже плыл сырой туман, шел дождь и бородатые ребята ждали этого часа, чтобы услышать эту передачу. А здесь ждали их телеграмм, писем... И весь остров, вытянутый на сотни километров, напоминал большой корабль, на котором очень многие чего-то ждали...

Костя вошел, резко распахнув дверь. С его плаща стекала вода, фуражка промокла насквозь. Увидев, что в комнате темно, он не стал ничего спрашивать. Постоял, потоптался у порога и снова вышел.

Потом неожиданно вернулся.

– Я, наверно, выгляжу смешно, – сказал он, – но, знаете, я почти три года не видел ни одного человека, которого бы знал раньше. Как на другую планету попал. В общем-то, расстояние не ощущается, просто какая-то изолированность... Будто живу в своем городе, но только в районе, где никогда не был... А может, дело в другом... Может...

Он вышел, не договорив.

Я включил свет.

Накрытый стол сиял во всем великолепии. Казалось, он сам излучал свет. Оранжевыми искорками поблескивала красная икра. От морских гребешков шел яркий белый свет. Жестко, как хирургические инструменты, сверкала ресторанная посуда.

Костины шаги я услышал в коридоре. Он побежал еще на улице, когда увидел свет в окне нашего номера. Распахнув дверь, он остановился на пороге. Радость медленно сходила с его лица, хотя морщины, складки на лице все еще были расположены в виде улыбки.

– Ну что ж... Я думаю, нам надо выпить, – проговорил он устало. – Не пропадать же добру. – Костя как-то замедленно снял плащ, бросил его на спинку кровати, положил фуражку на батарею и присел к столу. Потом, заметив, что вода с плаща стекает прямо на одеяло, поднялся и повесил его на угол двери.

Я видел, что ему сейчас не до разговоров, но пить коньяк и молчать тоже никуда не годилось.

– Послушайте, Костя, как вы сюда попали? – спросил я.

– Как попал... Купил билет и прилетел.

– Зачем?

– А кто его знает... Хотя... Конечно, я знаю, зачем я сюда приехал. Мне нужно было знать, что я смогу сюда приехать. Я должен был доказать, что я *смогу* сюда приехать.

– Доказать самому себе?

– Не только. Сам я никогда не сомневался в этом... Наверно, в любой компании есть человек, над которым каждый считает своим долгом пошутить. Но шутка остается таковой, пока она в единственном числе... Потом шутка становится насмешкой. Сколько бы ни было в ней благожелательности и прочих... маскхалатов. Это одна из причин, причем далеко не самая главная... Но ведь мы не всегда руководствуемся главными соображениями, верно? Иногда пустяк заставляет сделать поворот... Осенний дым, снег на подоконнике, чей-то насмешливый взгляд... Мало ли... И я решил уехать. Ненадолго, но как можно дальше. Этот остров всегда вызывал у них чувства, близкие к ужасу... И я выбрал его. Знаете, люди имеют обыкновение пренебрежительно отзываться о вещах, которые им недоступны, которых боятся...

Он замолчал, глядя перед собой все с тем же выражением.

– А почему бы вам не съездить в отпуск? По-моему, кроме права бесплатного проезда на материк и обратно, вы заработали где-то месяцев пять отпуска...

– Да, очевидно, придется съездить...

– Да почему придется?! Просто съездить. Или вас что-то держит?

– Держит, – улыбнулся Костя и с силой потер ладонью лицо. – Вы не поверите – боюсь.

– Боитесь? Чего?

– Засмеют. Видите ли, одни и те же поступки могут вызывать и самое неподдельное восхищение, и столь же искреннюю насмешку. В зависимости от того, кто совершает эти поступки... Мне кажется, что поступки... как одежда... Они должны быть впору человеку... Ни на размер больше, ни на размер меньше. Этот мой бросок на остров – поступок на несколько номеров больше того, на что я имею право. Он висит на мне, как одежда великана. С этим поступком я кажусь себе смешным. И не только себе.

– Я, например, ничего смешного не вижу.

– А! Вот вы, почти незнакомый мне человек, с которым я завтра расстанусь и никогда больше не увижусь, вы знаете, почему я так много рассказываю вам о своем друге? Потому что на большее не решаюсь. Боюсь. И вы меня боитесь. И все это очень грустно... Боже, сколько страхов! Страх показаться смешным, глупым, страх сказать не то, что от тебя ждут... Это все время меня гнетет! Я надеялся, что здесь, на острове, мне удастся избавиться от этого... Не удалось.

– Вам нужно обзавестись друзьями.

Костя вскочил, подошел к окну, прижался лбом к стеклу, потом резко обернулся.

– Вы заметили, что люди чаще не объясняются в любви, а оправдываются в ней? А человек, совершивший по-настоящему благородный поступок, ищет для него какое-то не очень красивое оправдание... Пусть он это делает в шутку, но делает! Зачем? Какая-то непонятная мода на грубость, бесцеремонность... Даже искреннее участие стремятся выразить как-то пренебрежительно, словно боятся, что их могут заподозрить в порядочности. А вы замечали, как боятся люди сказать друг другу хорошие слова? Все ищут какие-то нейтральные, совершают нейтральные поступки, рассказывают нейтральные анекдоты... И так к этому привыкают, что даже перед самим собой боятся назвать вещи своими именами.

– А ведь вы тоже не раскрылись, – сказал я. – И слова ваши тоже довольно нейтральные...

– Да! Да, черт возьми! Потому что я так привык к этим стерильным словам, что не могу пользоваться другими! Это как спирт! Я не могу пить чистый спирт, потому что привык к разбавленному.

– Ну что ж, давайте выпьем разбавленного... За то, чтобы мы не опасались друг друга.

Я уезжал на следующий вечер, и Костя пошел меня провожать. Из гостиницы мы вышли, когда совсем уже стемнело. Дождь на какое-то время кончился, и только туман бесконечными валами сползал с сопки, медленно двигался по улицам, переваливал через крыши домов и уходил в море.

До отхода поезда было далеко, и мы пошли к берегу. Прилив еще не начался, и вдоль всего городка шла широкая песчаная полоса – едва ли не единственное место прогулок. В теплые вечера здесь катались на велосипедах, ездили на мотоциклах, мамы и папы чинно вышагивали, толкая перед собой детские коляски. Здесь знакомились с девушками, хвалились нарядами, сводили счеты. Песчаная полоса вдоль моря стала постепенно главной улицей. Влажный песок был настолько плотен, что позволял даже надевать туфли с высокими каблуками. И тут же, стоя по колена в воде, парни ловили рыбу, чилимов...

Сейчас полоса была пуста. Ни одного человека мы не встретили до самых пограничных вышек. Стояла такая тишина, которую можно услышать только здесь. В одну сторону прости-

рался океан. Без единого всплеска. В другую – тайга. Без единого шороха. Какие шорохи в насквозь промокшем лесу!

Гудок паровоза мы услышали, наверно, километров за пятьдесят и повернули обратно.

Костя все-таки ошибался, говоря вчера, будто одни и те же поступки могут вызывать и насмешки, и восхищение. Да, суд людей может быть самым различным, но главное – не в том, кто совершил тот или иной поступок, главное – каковы мотивы, что заставило человека поступить так, а не иначе. Костя прав в другом: вернувшись, он действительно может не увидеть восхищения в глазах друзей. Его приезд сюда – вовсе не результат спокойного и мужественного решения, это бегство. Он бежал от неустроенного и одинокого себя там, на материке, надеясь здесь найти себя другим: уверенным, общительным, сильным. Но и здесь у него не хватило сил, чтобы сблизиться с людьми. И если он когда-нибудь уедет с острова, это будет очередная попытка избавиться от своей слабости и недоверия. Наверно, все-таки любить людей и быть сильным в жизни – это почти одно и то же...

– А что ускорило мой отъезд, – неожиданно сказал Костя, – так это жена. Я долго не мог решиться уехать и начал с того, что написал жене длинную записку, в которой подробно объяснил, почему еду, куда, зачем... Она нашла ее в моем пиджаке, когда я уже почти отказался от мысли ехать куда-то. Боже, как она смеялась! Радостно, искренне! По ее щекам катились слезы, она упала на диван и продолжала хохотать, чуть ли не дрыгая ногами. Она так никогда не смеялась, да и вряд ли ей суждено еще когда-нибудь так смеяться... Через неделю я уехал.

– Не жалеете?

– Трудно сказать двумя словами... Знаете, остров засасывает. Как бы мне здесь ни было плохо, я знаю, что дома буду мечтать только об одном – увидеть все это снова.

– Можно позвонить домой, это, в общем-то, несложно. Через спутник отличная слышимость.

– Я знаю... звонил... Слышно так внятно, будто я все еще там... У нее был такой улыбчивый голос... Ей до сих пор смешно. Смотрите! – показал он рукой в море. – Видите?!

– Что? Волны?

– Какие волны! Что вы! Это льдины! – Он сказал это с торжественностью, будто показывал город, поднимающийся из волн. – Да, это идут льды Охотского моря... Вот еще и за этим я приехал сюда.

– За чем? – не понял я.

– Чтобы иметь возможность протянуть руку и сказать – это плывут льды Охотского моря.

В тусклой дощатой комнатке вокзала ждал прибытия поезда только старый кореец с двумя мешками. Больше никто в ту ночь не уезжал из Макарова.

– Знаете, – сказал я, – может, с вашим другом что-то случилось?

– Да какой друг! – перебил он меня. – Он даже не знает моего имени, и я не знаю, как его зовут. Мы жили в одном дворе, и только... Хотелось услышать знакомый голос.

Костя стоял на дощатом перроне под фонарем и молча смотрел на влажные, тускло мерцающие вагоны узкоколейки. А как только поезд тронулся, сорвал с головы фуражку с длинным козырьком, но тут же снова надел ее, будто устыдился. Поезд набирал скорость медленно, и я долго еще видел его высокую фигуру под станционным фонарем. Я представил себе, как он будет брести по размокшим улочкам в гостиницу, как войдет в свой отсыревший номер, как включит свет и увидит еще накрытый стол – он и на следующий день ждал своего друга...

А поезд всю ночь шел вдоль моря, и всю ночь светились недалеко от берега голубоватые льдины, которые плыли из Охотского моря. К рассвету они становились все синее, ярче, а когда вошло солнце, от льдин брызнуло холодным чистым светом.



## ПРЕКРАСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Лавров прибыл в Невельск под вечер, и городок сразу понравился ему. Выйдя из низкорослого вокзала с непривычно широкими дверями, он оказался на чистой узенькой улочке, доверху наполненной розовым закатным светом. Куда бы ни приезжал Лавров, он всегда первым делом шел к морю. Без цели, без заранее принятого решения; сам того не замечая, в день приезда он обязательно оказывался на берегу. А последние годы, куда бы ни забрасывала его непутевая судьба, где-то рядом, в двух шагах неизбежно слышался шум волн.

Старые балки, утыканные ржавыми болтами, каркасы разбитых лодок, остатки деревянных ящиков, пустые железные бочки, ворочающиеся в волнах недалеко от берега, – все это нравилось ему и волновало его. Даже запах, сильный запах соленых водорослей казался необычным, тревожным. Лавров жадно вдыхал розовый воздух, думал о том, как все-таки здорово, что он попал сюда, и не спешил уходить.

Широко расставив сильные ноги, сунув руки в карманы брюк, развернув плечи, плотно обтянутые тонким белым свитером, он подставил лицо ветру, и ему казалось, что это не ветер, а солнечные лучи перебирают его волосы. А рядом шуршали волны, и, хотя все они были одинаковы, он знал, что справа – Татарский пролив, а слева – Японское море.

Потом к берегу причалила небольшая лодка, и несколько мальчишек принялись с чем-то возиться в ней. Лавров подошел ближе и увидел двух громадных розовых осьминогов. Мальчишки хотели вытащить их из лодки, но стоило им оторвать от скамейки или борта одно щупальце, как осьминог тут же присасывался остальными. Присоски отрывались от досок с влажным чмоканьем. Когда наконец осьминогов выбросили на песок, вокруг уже стояла толпа, и ребята быстро продали чудовищ корейцам, которые радостно унесли их в ведрах. Корейцы были по пояс голые, и изогнутые от тяжести позвоночника четко выделялись на их смуглых, мускулистых спинах.

Лавров уже представил себе, какой праздничный ужин получится сегодня у корейцев, вспомнил, как ему впервые пришлось пробовать мясо осьминогов, и в этот момент прозвучали слова, которые вроде бы его никак не касались, но все-таки заставили обернуться.

– А ведь какая была собака! – сказал хриплый и насмешливый голос.

Позади стояли два парня и в упор разглядывали его. Оба были невысокие, но один – какой-то тощий, узкоплечий, а второй – покрепче, массивней. Что-то в этих парнях настораживало, как бывает, когда в самой, казалось бы, безопасной обстановке вдруг невольно насторожишься. Тревога шевельнулась в душе Лаврова, чаще заработало сердце, чуть отхлынула кровь от щек. Он стоял все так же независимо, свободно, но ладони в карманах неожиданно взмокли.

Солнце ушло за водный горизонт, на материк. Стало прохладнее. Волны незаметно сделались лиловыми, потом синими и наконец приобрели фиолетовый оттенок.

– Помнишь злодея? – услышал Лавров, но не оглянулся, хотя понял, что обращаются к нему. Нарочито медленно повернувшись, он хотел уйти, надеясь, что все обойдется, что растущее чувство опасности – ложное. Но ему загородили путь. Парни смотрели на него спокойно и удовлетворенно, будто долго искали его, даже потеряли надежду найти, но тут им повезло.

– В чем дело, ребята? – спросил Лавров и сразу понял, что вопрос прозвучал заискивающе, слишком уж благожелательно.

– Слышь, Коля, он спрашивает, в чем дело, – сказал тот, что поменьше, и улыбнулся. У него были белые, но низкие и редкие зубы. – К нему как к человеку обращаешься, вопросы задаешь, а он ведет себя последним хамом. Не нравится он мне, Коля, нехороший он человек.

– Первый раз такого вижу, – ответил Коля и тоже улыбнулся, не разжимая губ.

– А кое-кто хорошо его знает, дело с ним имел и еще не прочь встретиться... Коля, ты не знаешь человека, который хотел бы с ним повидаться?

– Как же, Славик, не знаю, хорошо знаю.

– Кончайте, ребята, – сказал Лавров. – Мне идти надо.

– Вот видишь, Коля, на вопросы не отвечает, разговаривать не хочет, другом нашим пренебрегает... Нехороший он человек.

В тот момент, когда, сделав резкое движение, Лавров шагнул вперед, ему подставили ножку, и он с размаху упал в мелкую лужицу, затянутую подсохшей тиной. Все еще пытаясь сохранить достоинство, он поднялся и решительно повернулся к парням. Тощий Славик стоял в сторонке, поигрывая куском ржавой трубы, а Коля так и не вынул рук из карманов.

– Может, вы скажете, что вам нужно?

– Видишь, Коля, он не знает никакой собаки.

– Не помнит.

– Во-во, не помнит. Много, видно, собак встретилось ему на жизненном пути, всех даже и упомянуть не смог.

– С памятью худо у него... Отшибли, видать.

– Ничего, Коля, не может быть, чтобы все отшибли, кой-чего и на нашу долю осталось.

– Осталось, Славик. Надо только руки приложить.

Толпа, стоявшая здесь совсем недавно, разошлась, берег и море были пустынными, потянуло сыростью, с сопок бесшумно пополз туман, и Лавров невольно передернул плечами. Где-то корейцы разделявали осьминогов, обсуждали удачный улов мальчишки, расходились по домам случайные прохожие.

Гнилые деревянные балки, ребра старых лодок уже не казались Лаврову такими красивыми и волнующими. Теперь это были равнодушные и молчаливые свидетели его смерти. И как только в его сознании мелькнуло это слово, Лавров вдруг до ужаса ясно представил, как его обнаружат завтра утром возле разбитых ящиков. Он уже видел себя лежащим вниз лицом на мокром песке, с запекшейся на затылке кровью, видел, как снова соберется толпа, как погрузят его в какой-нибудь случайный самосвал...

– Смотри, Коля, а ведь он обиделся на нас, – сказал Славик.

– Из обидчивых, значит.

– А знаешь, он и ударить может... Глянь, какие глаза у него сердитые.

– Не ударит, страшно ему.

– Ребята... – сказал Лавров и удивился своему голосу, таким он показался ему тонким, почти визгливым. – Ребята, я только сегодня приехал... Вы меня с кем-то путаете... Понимаете, я только успел в гостиницу...

– А ведь я верю ему, Коля, правду он говорит, что сегодня, иначе бы давно его встретили.

– Ребята, посмотрите, вот мой билет... Железнодорожный...

– Убери, – коротко сказал Коля. Видно было, что он волнуется, как волнуются перед серьезным делом, которое нужно выполнять быстро и хорошо. – Так ты вспомнил?

– Кого, ребята?!

– Злодеем которого звали.

– Злодеем?!

– Вспомнил, значит. Вот и хорошо. Смотри, Коля, вокруг никого, время идет, чего тянуть... Думаю, уже можно...

– Что... можно? – не столько спросил, сколько выдохнул Лавров, невольно сделав шаг назад.

Он чувствовал, что страх охватывает все его существо, парализует, но ничего не мог с собой поделать. Может быть, в другое время он обратил бы внимание на то, что оба парня, стоявшие перед ним, гораздо слабее его, что он мог бы без особого труда справиться с ними

или уж, во всяком случае, расшвырять их в стороны и уйти. Но Лавров даже не думал об этом. То ли неясное чувство вины, то ли уверенность этих парней, то ли его трусость, о которой он и не подозревал до сегодняшнего дня, считая себя человеком сильным и мужественным, а может быть, все это вместе взятое полностью лишило его способности к сопротивлению. Возможно, он вел бы себя иначе, если бы море не было таким черным, если бы огни города были поближе, если бы на берегу показался хоть один человек, хоть мальчишка, старуха, девушка... Но берег был пустынен, море тихо шелестело в темноте, а Лавров видел себя уже лежащим на песке...

– Что... можно... ребята? – переспросил он, не услышав ответа.

– Сейчас поймешь. Недолго осталось... Слушай, Коля, надо бы Леху позвать, а? Лехе приятно будет.

– Сами справимся.

– Леха обидится, если мы без него...

– Не обидится.

– Я бы все-таки позвал Леху, – настаивал тощий Славик. – Я знаю, где он... Тут недалеко...

Лавров не мог больше слушать этот разговор. Изо всей силы оттолкнул Колю в сторону, в темноте чутьем угадав канаву, он перепрыгнул через нее, пролез под какой-то балкой и, не оглядываясь, понесся к домам. Он не знал, гонятся ли за ним парни, да это и не имело значения, потому что в любом случае бежал бы как можно быстрее.

– Что с вами? – спросила у него дежурная, когда он, задышав, еле переставляя ноги, вошел в гостиницу.

– А что? Ничего... Все нормально.

– Где это вы так выпачкались?

– А-а... Упал нечаянно. Ничего страшного.

Лавров взял ключ от комнаты и поднялся наверх. Не зажигая света, он тщательно запер дверь и упал на кровать. Он лежал, не двигаясь, без мыслей, без желаний. Было только облегчение, что все это кончилось. Не в силах подняться, Лавров пролежал около часа и только потом встал, включил свет, умылся. Открыв дверь, он внимательно осмотрел коридор, вернулся в комнату, закурил. И нервно усмехнулся, заметив, как вздрагивала в пальцах спичка.

Город шел уступами по другую сторону гостиницы, и там сейчас светились окна, сновали машины, прохожие. А из своего окна только далеко в море Лавров заметил несколько слабых огоньков парохода. К Лаперузу идут, машинально подумал он и вынул из пачки вторую сигарету.

Лавров приехал в эти края несколько лет назад, но до сих пор не пропало в нем чувство новизны. Странное волнение охватывало его при виде снежных заносов, летних дождей и туманов, при виде влажных сопок или прозрачных горных ручьев. Он полюбил остров еще там, на материке, и не один раз говорил друзьям, что его форма напоминает ему магнитную стрелку гигантского компаса, а иногда – корабль или глубинную рыбу с костистой пастью. Подолгу рассматривая карты острова, он бормотал чуть слышно названия городов и поселков, будто заучивал их наизусть. Друзья знали, что он собирается на остров, Лавров не один раз обсуждал с ними детали своего отъезда, показывал письма, которые получал из далеких портов и рыбокомбинатов в ответ на свои запросы, и поэтому, когда наконец наступил день отъезда, все были слегка удивлены и посрамлены в своем неверии.

Лавров хорошо помнил день, когда он сел в самолет. Это было тихой сырой осенью. Да, в том городе, откуда он уезжал, была осень. Шел мелкий дождь, и взлетная полоса блестела, как большой проспект, с которого вдруг исчезли дома, деревья, памятники. Осталась только прямая мокрая дорога, в которой отражались серые громады самолетов. По их клепаным бокам, будто покрытым гусиной кожей, рывками стекали капли дождя. Здесь, на земле, самолеты казались Лаврову чужими и неуклюжими. Они будто ждали, пока маленькие и суетливые люди

закончат возню и им можно будет освобожденно и восторженно оттолкнуться и уйти к себе, в тяжелое сырое небо. Эта мысль понравилась Лаврову, и он окинул самолеты взглядом, сочувствующим и добрым.

Потом, когда наступили сумерки, объявили посадку, Лавров медленно и отрешенно прошел через летное поле, ступая по бетонным плитам, по мелким морщинистым лужам, по листьям, занесенным с деревьев, окружавших аэропорт. Листья эти казались Лаврову выцветшими, они лежали на бетоне бледные и размокшие. А себя он в этот момент видел значительным и печальным. Он оглянулся и прощально помахал друзьям, которые должны были стоять где-то там, среди огней аэропорта. Лавров даже улыбнулся им, чуть склонив голову к плечу. Ничего, дескать, не переживайте, я вернусь...

В свете прожекторов тускло поблескивало брюхо громадного самолета. Концы провисших крыльев скрывались где-то в тумане. И конца очереди у трапа тоже не было видно. Вереница людей, казалось, шла через поле, выходила на шоссе и тянулась, тянулась до самого города, будто к трапу выстроилось все его население, будто объявление о посадке прозвучало не только в аэропорту, но и в домах, на заводах, улицах...

Уже поднявшись по трапу, Лавров еще раз оглянулся. Конечно же, он не увидел никого из знакомых, вообще не увидел ни одного человека, но все-таки не удержался и помахал рукой. А минут через десять по телу самолета пробежала нетерпеливая дрожь, он дернулся, пронесся по полосе, оттолкнулся и, будто успокоившись, ушел в темное небо. Где-то внизу, под маскировочной сеткой дождя, текла широкая река, теплились огоньки бакенов, катеров, барж. Через несколько минут показались звезды. Самолет продолжал набирать высоту.

Откинувшись в кресле, Лавров закрыл глаза и понял, что он взволнован, что этот день, этот полет, это мерцание звезд в иллюминаторе, холодный лунный блик на крыле самолета он запомнит навсегда, все это войдет в него и останется в нем. И отныне он будет жить еще и этими необычными, тревожными впечатлениями сверхдальнего полета.

В Москве стоял мороз, и прозрачная поземка мела по белесым плитам аэропорта. В ночном воздухе самолеты уже не выглядели угрюмыми существами из другого мира. Они сверкали разноцветными огнями, будто приглашали к празднику. И в душу Лаврова закралась робость, боязнь оплошать. В то же время, глядя на себя как бы со стороны, он гордился собой.

В темном, промерзшем автобусе Лавров переехал с Внукова на Домодедово, и там на него сразу дохнуло просторами, которые измерялись тысячами километров, сутками перелетов, часовыми поясами. И опять самолет рванулся в небо, раскалывая и дробя мерзлый воздух. Москва, будто плоская галактика, качнулась и ушла в сторону, уменьшаясь и теряясь среди звезд. Это было прекрасно.

Ночь кончилась неожиданно быстро, а утром где-то внизу медленно проплыли заснеженные горы Урала, замерзшие болота Западной Сибири, днем он видел горы Восточной Сибири, похожие в лучах холодного солнца на розовую скомканную бумагу. Потом незаметно приблизился Дальний Восток, сумрачный и таинственный. Неожиданно кончились облака, будто отшатнулись назад, к материку, а под самолетом оказалась пустота, от одного вида которой сжималось сердце и метался по груди испуганный холодок. На дне провала колыхался Татарский пролив. Едва достигнув его середины, самолет начал снижаться, и вскоре у самого горизонта показался клубящийся туманом остров. Самолет качнулся, наклонился на одно крыло, Лавров судорожно схватился за поручни, а сердце его учащенно и радостно напомнило о себе.

А потом прошло несколько лет, и Лавров уже считал себя знатоком этого края и относился к нему хотя и снисходительно, но по-прежнему; попадая в новые места, волновался почти как раньше и ценил в себе это волнение. А когда оно не приходило, старался вызвать его в себе усилием воли и воспоминаниями о том давнем перелете сюда, который так круто изменил его жизнь. Лавров полагал, что остров изменил и его самого...

...Что-то заставило его обернуться. И еще до того, как он понял, в чем дело, ужас снова сковал его, сделал громоздким и неуклюжим. И обернулся Лавров так, будто преодолевал страшное сопротивление, будто все его тело было сделано из проржавевшего металла.

Сквозь открытую дверь комнаты при слабом коридорном свете он увидел лицо Славика. Тот улыбался, показывая редкие белые зубы. Дверь открылась шире, и Славик вошел в номер. За ним боком протиснулся Коля и, оглянувшись в коридор, сказал негромко:

– Входи, Леха, здесь он.

И в комнату вошел еще один парень – высокий, с прямыми жесткими волосами, слегка сутулый. Вошел он как-то неуверенно, будто не хотел идти сюда, но его все-таки заставили. И на Лаврова он посмотрел чуть ли не с извиняющейся улыбкой.

– А ведь и уйти мог, а! – воскликнул Славик, поворачивая ключ в двери. – Запросто мог.

– Куда он уйдет, – протянул Коля и посмотрел на Леху, словно ожидая похвалы.

Тот долго молчал, с недоверчивой улыбкой разглядывая хозяина номера, потом подошел к нему совсем близко и, вынув зажигалку, поднес огонек к сигаретке, которая вздрагивала в губах Лаврова. Потом вздохнул, провел устало рукой по лицу и повернулся к своим друзьям.

– Ошиблись вы, Коля. Не он.

– Как – не он?! Я же видел его! Тогда еще!

– Ты видел, а я с ним плавал! Не он. Пошли...

И Леха направился к выходу. Но уже возле двери обернулся:

– Ты извини, друг... Ошиблись ребята маленько... Бывает. Ты по специальности кто?

– Строитель, – быстро ответил Лавров, не зная, как вести себя, как повернутся события.

– Вот видишь, Коля, строитель он. Ты никогда не плавал? – снова повернулся Леха к Лаврову.

– Нет.

– Вот видите, ребята, не плавал он. И не знает даже, что это такое. Ты ведь не знаешь, что это такое – плавать полгода в море?

– Нет. Не знаю, – послушно ответил Лавров.

– Вот видите, ребята... И Злодея он никакого не знает... Это пес у меня был такой... А Злодей – кличка его. До чего умный... я ему в подметки не годился. Славная была собака, – сказал Леха тихо и уж как-то очень искренне, будто о брате говорил. – Несколько лет мы вместе ходили на БМРТ, пока один тип не выбросил его за борт. Ночью. Но это был не ты, я сразу понял... Ошиблись ребята. Извини...

– Конечно, что вы! – быстро ответил Лавров. А Леха чуть заметно усмехнулся, услышав обращение на «вы».

– Так вот, тот тип на БМРТ... Трус он был, да и человек довольно подловатый... Хотя страшно закаты обожал, на солнце любил смотреть, когда оно в море опускалось, и чтоб ветер волосы ему трепал. Прямо балдел от счастья. Очень он себе нравился, хотя как человек был невысокого пошиба. На берегу, в городе, на материке это не так заметно, а в море – сразу. Люди это видят, понимают, а собаки чувствуют. Вот и мой Злодей того типа раскусил раньше нас всех... Ну а рыбаки – ребята простые... Едва собака на него залает – смех... Так он не придумал ничего лучше, как собаку утопить. По ночам он иногда звездами любовался, вот и выбрал момент... Подлый тип, верно?

Лавров промолчал.

– Правда ведь подлый тип? – повторил свой вопрос Леха, не спуская глаз с Лаврова.

– Да... конечно...

– Что «конечно»?

– Подлый... тип... – с трудом сказал Лавров.

– Вот и я говорю. И ребята то же самое говорят. До сих пор. И ты, оказывается, с ними согласен... Ведь согласен?

– Конечно.

– Ну ладно, – удовлетворенно вздохнул Леха. – Идемте, ребята, – и он направился к двери. Но опять остановился. – Слушай, строитель, если ты когда-нибудь выйдешь в море, не вздумай выбрасывать собаку за борт. Не надо. Я, например, никогда не выбрасываю... собак... за борт. Хотя знаю некоторых... с которыми стоило так поступить. Согласен? Спрашиваю – согласен?

– Д...да... – выдавил из себя Лавров.

– Ну, будь здоров, – сказал Леха и вышел, уже не оглядываясь.

– Всего, *строитель*, – попрощался Коля.

– Гарун бежал быстрее лани, – процитировал Славик и аккуратно закрыл за собой дверь.

Лавров бросился было следом, чтобы запереть дверь, но остановился, бессильно опустив руки, опустошенно подошел к окну и опять увидел далеко в море одинокие огоньки судов. Он представил себе, как разрезают они сейчас волны Татарского пролива или Японского моря, как смотрят там ребята на огни проплывающего мимо города, и вдруг невольно на какую-то секунду вновь ощутил в своих руках живое, бьющееся тело собаки, ее протяжный, затихающий, удаляющийся визг, внезапно оборванный слабым, невидимым всплеском у высокого борта.

– Помнит, значит, меня Леха, – проговорил он негромко. – Не забыл, значит...

Неприятное, гнетущее чувство в душе все росло, Лавров не мог понять, в чем дело. Он походил по номеру, еще раз умылся под краном, словно на руках у него до сих пор была липкая тина, в которую упал на берегу. Потом спустился в ресторан, посидел несколько минут за столиком и снова поднялся к себе, не дождавшись официанта.

– Противно, – время от времени повторял он. – Противно...

Он уже знал, что в памяти от сегодняшнего вечера останется не розовый свет над морем, не мальчишки, которые так радостно волокли светящихся осьминогов по мокрому песку, и не эти вот слабые огоньки проходящих судов. Запомнится страх там, на пустынном берегу, ощущение тины на пальцах и этот насмешливый, почти забытый взгляд Лехи. Перед собой Лавров не кривил душой и, хотя теперь понимал, что ребята просто припугнули его маленько, наверняка знал – страх запомнится.

А с той путины запомнился собачий визг...

– А еще? Что еще?! – почти иступленно спрашивал себя Лавров, прижавшись лбом к оконному стеклу, охлажденному ночным ветром с моря. Он понимал, что если когда-нибудь ему суждено будет вернуться на материк, то от этих лет, от этих мест в душе останется не чистое, возвышающее волнение, не мерцающий воздух Невельска, не лиловая полоска Японии на горизонте, не горные ручьи Шикотана, заменявшие местным жителям дороги, – останется в душе собачий визг. И от этой мысли такая горечь охватила все его существо, что на свое темное изображение в окне он посмотрел сочувственно и даже с уважением.

В эту ночь ему почему-то снились куры, заколоченные в деревянные ящики, в которых обычно их возят на базар. Куры кудахтали, перебирали когтистыми ногами, хлопали грязными крыльями и сквозь щели в ящиках смотрели на Лаврова круглыми немигающими глазами. И были в этих глазах настороженность и ожидание. Они чего-то ждали от него, он знал даже, чего именно, но, когда проснулся, вспомнить не смог.

Подойдя к окну, Лавров увидел залитое солнцем белесое море, а невдалеке от берега сивучей – их головы торчали из воды черными пнями.

– Надо же, – сказал Лавров. И пошел умываться.

## СОЛНЕЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Когда подошла третья неделя без солнца, Андрей почувствовал, что выдохся. Какая-то гнетущая усталость сковывала не только движения, но даже мысли, желания. В такие дни Андрей напоминал боксера, который потерял силы, тянет время, повиснув на кулаках противника. Он пытался исправно выполнять свою работу, но его хватало лишь на то, чтобы вовремя прийти в редакцию. Он почти не видел людей, с которыми ехал в автобусе, не замечал домов, мимо которых проходил, не ощущал ни погоды, ни времени суток. На душе была засуха, а вокруг простиралась пустыня, хотя рядом могли смеяться, рядом шумели на ветру листья, гудел басовитый прибой. И тогда Андрей шел к заву и отпрашивался в командировку.

Скорее всего дело было в зиме, в слишком долгой зиме. Андрей уже не помнил, когда она началась, а о весне даже говорить было неприлично. Шел январь. Не торопясь, вразвалку, прекрасно понимая, что всем надоед, зная, что за ним волокутся февраль, март, апрель и что они будут ничуть не лучше.

А возможно, дело было в том, что он попросту засиделся в отделе. Требовалась перебивка. Командировка. Вырываясь из редакции, он за день-два выполнял задание и приставал к геологам, рыбакам, пограничникам, иногда забираясь с ними в места, где до него не бывал ни один газетчик. И несказанно радовался, если командировка неожиданно затягивалась. Тогда летели в редакцию радостно-панические телеграммы: «В связи со стихийным бедствием и невозможностью вылететь прошу продлить...»

В командировках время шло с другой скоростью, отношения с людьми не были определены столь жестко, как в городе, да и сам он отличался от себя же, сидящего в отделе, нахолившегося и печального. Командировка приводила Андрея в радостное, тревожное состояние, запомнившееся ему еще с детства, когда самая обыкновенная поездка на трамвае становилась праздником, пассажиры казались путешественниками, а незнакомые названия улиц волновали, будто кондуктор объявлял не остановки, а названия стран.

Постояв у окна, потолкавшись в коридоре, Андрей решился наконец зайти к низкорослому, с залысинами шефу промышленного отдела. Имя у зава было длинное и церемонное – Константин Константинович. Оно, видимо, ему самому не нравилось, во всяком случае, у зава не всегда хватало терпения дослушать спотыкающиеся слоги имени до конца, и он частенько поторапливал: «Ну-ну!» Поэтому многие в редакции произносили его имя в конце, когда все уже было сказано.

– Мне бы в командировку, – сказал Андрей, падая в низкое кресло, – Константин Константинович.

– Зачем? Посмотри, какая погода! Засядешь в какой-нибудь дыре на пару недель...

– Авось, – протянул Андрей, почти не веря в такую счастливую возможность.

– Хорош гусь! А строчки кто будет сдавать? – Зав проницательно склонил голову, и его лысина отразила рукописи на столе. – Расскажи читателю о славных делах островитян, о том, как они борются со стихией, как выполняют производственные планы...

– Вы знаете, сколько строчек я сдал за последние три дня?

– Знаю. Сто. Но ты еще что-то пишешь?

– Письма на материк... Да все ни одного закончить не могу. Я же не говорю, что мне хочется в командировку, мне надо, Константин Константинович.

– Да, – зав потер лысину от одного уха до другого, отчего жидкие прядки вздыбились. – Тяжелый случай. В Синегорск поедешь?

– Константин Константинович!

Андрей выехал, когда уже начался буран. Мело вовсю, и мотриса останавливалась через каждые несколько километров, упираясь в снежные заносы. Машинисты спешили, надеясь

проскочить обратно в тот же день, не зная, что вряд ли им удастся вернуться и через неделю. Андрей сидел в холодном вагоне, вжавшись в угол, подняв воротник куцего, еще материковского пальто и сунув руки в карманы. Он расслабленно смотрел в окно, не видя ничего, кроме несущегося снега, потом переводил взгляд на подоконник – снежная пыль как-то проникала сквозь двойные рамы, и маленькие сугробики внутри вагона даже не таяли. Несколько человек в разных углах вагона сидели молча, боясь, что очередной занос окажется непроходимым и ночевать придется здесь, в этом мерзлом железном вагоне. До Синегорска мотриса все-таки добралась. Едва открылась дверь, как тамбур тут же наполнился снегом, ветром, в него будто ворвалось какое-то белое суматошное существо. Спрыгнув со ступеньки, Андрей сразу оказался по пояс в снегу. Мотриса дернулась, закричала загнанно и скрылась в снежном мареве. И лишь тогда в нескольких шагах Андрей увидел маленькую темную фигурку. Он подошел, пригнувшись, заглянул в лицо.

- Не меня встречаете? – спросил Андрей.
- В вагоне больше никого не было? – голос девушки показался ему чуть сипловатым.
- Ребята какие-то ехали... Но им дальше.
- Родители должны были вернуться...
- Теперь уже после бурана. Этот рейс был последним.
- Что-то я вас не узнаю, – неуверенно проговорила девушка.
- Все правильно. Я здесь первый раз.
- К кому же вы приехали?
- Командировка.
- В такую погоду? Где же вы будете ночевать?
- Общежитие какое-нибудь найду...
- Оно по ту сторону шахты. Туда сейчас не пробиться.
- Придется мне у вас заночевать, а? Как вы на это смотрите?

Из толстого платка были видны только ее глаза с тяжелыми заснеженными ресницами. Девушка молчала, не зная, как ей поступить. А Андрею было совершенно безразлично – пригласит его девушка или нет. И если бы она отказала ему в ночлеге под каким-нибудь благовидным предлогом, он бы наверняка ощутил бы облегчение. Переночевать можно было и на станции, в кабинете начальника, можно было, на свой страх и риск, отправиться на шахту, в общежитие, можно было, в конце концов, постучаться в первый попавшийся дом. В такую погоду никто не выставит человека за дверь. После снегопадов местные газеты всегда полны историй о доброте человеческой, взаимовыручке, самоотверженности и прочих красивых качествах островитян. Андрею и самому приходилось писать о старике, живущем на перевале, – во время снегопада он почти неделю колотил в подвешенный рельс, подавая знак заблудившимся. К концу снегопада у него всегда набиралась полная изба людей, часто отчаявшихся, обмороженных...

- Так вы идете? – спросила девушка.
- Если настаиваете...
- Послушайте! Сами напросились, а теперь делаете вид, будто я вас уламываю!

Добравшись до маленькой квартирки в длинном деревянном бараке, они разделись, напились чаю и пришли в себя после снежной свистопляски.

Когда совсем стемнело, Нина зажгла свечи – электропровода были оборваны ветром. Вечер потребовал иных разговоров, иных отношений, хотели они того или нет. Дневная легкость, готовность посмеяться над чем угодно, пошутить над собственными оплошностями – все это вечером стало казаться фальшивым, надсадным. Свечи, гул ветра за стенами, странные японские мелодии, звучавшие здесь сильно и чисто, то, что они узнали друг о друге за эти часы, требовали самого большего, самого важного, что вообще могло быть между ними...



В тесной квартирке барака, содрогающегося от ветра, маленькая, бледная от волнения девушка стелила постель. Нина старалась не смотреть в сторону Андрея, боялась на минуту остаться без дела, иначе пришлось бы взглянуть в глаза друг другу, сказать о самом важном. А Андрей смертельно хотел спать. Десять часов в мерзлом вагоне давали себя знать, и он с трудом удерживался, чтобы не уснуть прямо за столом.

– Ляжешь на кухне, – сказала Нина высоким, неестественно звонким голосом. И вышла в темную теплую комнату.

Андрей выключил приемник, и пурга сразу стала ближе: он слышал потрескивание стен под напором ветра, скрежет надорванного, быющего на ветру листа жести, треск рухнувшего дерева.

– Андрей! – негромко позвала Нина из темноты комнаты. – Тебе не страшно?

– Нет.

– А я боюсь... Ты слышишь?

Андрей не отвечал. Он спал. А утром, когда, уже одетый, стоял у двери, Нина подошла к нему вплотную и посмотрела почти ненавидяще. У нее было маленькое, очень чистое и бледное лицо.

– Ты можешь думать обо мне все, что угодно... Например, что я специально выхожу на станцию завлекать несчастных приезжих... – На глазах у нее появились слезы, но не падали, и глаза от этого стали большими и беспомощными.

– Опомнись, Нина! – засмеялся Андрей. – У вас приезжие бывают раз в году!

– Понимаешь, когда это дурацкое дерево упало почти на самые окна, я думала, что с ума сойду, – она перевела дух. – Не могу, понимаешь, не могу я ночевать одна, когда буран...

Андрей осторожно взял ее ладони, внимательно посмотрел на них, отметив про себя, что руки у Нины натруженные, что работа у нее далеко не канцелярская, хотя и уход за домом тоже требует усилий – печь, уголь, дрова, воду, наверно, приходится носить из колодца...

– Нина, – медленно проговорил Андрей, – понимаешь, заснул. Заснул. Ну что делать – бывает. Когда-нибудь я очень пожалею, что все получилось так нескладно. Ладно, признаюсь – я уже жалею об этом. Если бы ты знала, как мне горько сейчас, как горько! – Андрей наклонился и осторожно поцеловал ее соленые от слез губы. – Не злишься?

– Катись! – улыбнулась Нина сквозь слезы.

Андрей с трудом протискивался по узкой снежной траншее, в которую превратилась главная улица Синегорска. Каждый раз, когда кто-то шел навстречу, он прижимался спиной к сугробу, и им кое-как удавалось разминуться. Чтобы попасть в столовую, Андрею сначала пришлось пройти по ее крыше. Внутри было темно и холодно. Ночью вывалило громадное витринное стекло, и теперь половину зала занимал покатый, мерцающий в полумраке сугроб. У раздаточного окошка горели свечи, у входа несколько собак, прижавшись друг к другу, втиснулись в угол. Опасаясь, что их выгонят, они изо всех сил старались занимать как можно меньше места. Их лежбище слегка подтаяло, на лапах висели сосульки. Глаза у собак были настороженные и виноватые.

– Меню можно не смотреть, – произнесла из темноты корейнка. – Света нет, воды нет, кушать нет.

– А что же есть?

– А вот...

На отдельно стоящем столе Андрей увидел тарелку с узкими холодными котлетами и поднос, на котором ровными рядами стояли стаканы с белым сухим вином. Вначале он было подумал, что это компот, но, отхлебнув, понял – вино.

– «Зоненкюсте», – сказала корейнка, гордая тем, что запомнила и произнесла такое диковинное слово. – Вино так называется. – При теплом свете свечи сверкнула ее улыбка, матово

блеснули тугие щеки. Несмотря на маленький рот, губы у нее были большие, темные и выдавались вперед, будто она насвистывала что-то.

– «Солнечный поцелуй», – сказал Андрей. – Название вина так переводится. «Солнечный поцелуй» – «Зоненкюсте».

Кореянка так засмеялась, будто Андрей принес ей невесть какую радость. Он знал, что название переводится иначе, но все почему-то радовались, когда он именно так объяснял значение слова «Зоненкюсте».

В разбитое окно виднелись сугробы. Они вздымались, опадали, взбухали, порывом ветра их как бы сдвигало в сторону, потом они опять наступали. В их движении ощущалась какая-то осмысленность. И снег, и ветер словно были орудиями, которыми кто-то пытался чего-то достичь, что-то доказать. И, наблюдая за сугробами, прихлебывая сухое вино из стакана и заедая его жесткой холодной котлетой, Андрей с радостью почувствовал, как пустыня в нем начинает медленно отступать. Раскосая улыбка кореянки, тускло мерцающий сугроб посредине столовой, сжавшиеся в мокрый клубок собаки с тяжелыми от сосулек хвостами, странная девушка Нина, с которой он обошелся до неприличия хорошо, – все это, словно свежие зеленые ростки, пробивалось в нем. Приходила уверенность, он уже мог общаться с людьми, задавать вопросы, выслушивать ответы...

Через заклинившую дверь Андрей с трудом выбрался наружу. Узкая щель в сугробе, через которую он прошел сюда, оказалась уже заметенной.

– Стой! – услышал он почти съеденный ветром крик. К нему шел человек в тулупе, высоких валенках, с массивным посохом. – Куда прешь?! – У человека было красное лицо в подтаявшем снегу и злые глаза.

– На шахту, – Андрей улыбнулся, опять ощутив, как ослабевают в нем угнетенность и неуверенность.

– Нельзя на шахту, – сказал человек в тулупе. – По одному нельзя. Вот соберется вас человек пять, тогда и пойдете.

– Ну, раз так, то я вообще не пойду на шахту, – заверил Андрей. – Доберусь до ближайшего дома, там и останусь, – он махнул рукой вперед, даже не зная наверняка, есть ли там дом.

– Ладно, валяй. Я предупредил. Понял? А может, ты все-таки на шахту?

– Сказал же, что нет. А что там?

– Лавины с сопки ползут. Смотри, если ты на шахту, то мне туда звонить надо, чтоб встретили тебя.

– Нет-нет.

И снова Андрей остался один. Иногда рядом возникали бревенчатые дома, черные очерки ветвей, острые доски заборов, и тут же все снова скрывалось в белесой мгле. Вскоре дома остались позади, и в просветах Андрей видел только ветки деревьев, иногда возникала громада сопки, прямо из-под ног уходящая куда-то вверх. И тогда он вспоминал, что идет по глубокому распадку и что сюда в самом деле может соскользнуть снежная лавина.

До шахты было еще далеко, когда Андрей услышал слабый рокот мотора. Он сразу догадался, в чем дело, и поспешно нырнул в ближайший сугроб. Вскоре показались размазанные снегом огни – шел бульдозер. Серая грохочущая громада прошла совсем рядом, и Андрей снова вышел на дорогу.

Перед самой конторой его опять остановил постовой.

– Один? – спросил он.

– Один.

– В душу же тебя мать! Какого черта пошел?! А ну давай к начальнику! Считаю, что выговор заработал.

– За что? – обрадовался Андрей.

– За нарушение общественного порядка. Нельзя по одному, понял?! Документы есть?

Посмотрев удостоверение, постовой успокоился.

– Ох и дал бы тебе промеж ушей, если б ты нашим был! А так – что с тебя возьмешь...

Ну, признайся, из поселка шел?

– Из поселка, – кивнул Андрей.

– Как дорога? Все нормально? Никто не лежит, никто концы не отдает? Бульдозер видел?

– Видел. Все нормально.

Начальник шахты стоял у окна, невидяще глядя в снегопад. Услышав, что кто-то вошел, он повернул ухо в сторону двери, но взгляда от окна так и не оторвал.

– Ну чего тебе? – наконец обернулся начальник.

– Не узнаете? Мы с вами встречались в комбинате... У главного.

– А! Из газеты... Ну и время ты нашел! Хороший хозяин собаку из дома не выпустит, а тебя носит как... Некстати приехал.

– Почему? Отличная погода.

– Да? – Начальник окинул Андрея снисходительным взглядом, усмехнулся. – А на уме у тебя что? Ругать будешь, хвалить?

– Конечно, хвалить. Ударный репортаж об ударной бригаде. Сами знаете – ваша шахта по сверхплановой добыче впереди, и репортаж...

– Не будет репортажа, – тяжело выдохнул начальник. – Стоит шахта. Все участки, до одного. Не можем подвезти ни стоек, ни порожняка... Да и грузить некуда – замело пути. Железнодорожники очухаются не раньше чем через неделю. Если повезет.

– Может, на очерке остановимся, а? О Суряднове, например, а? У него вроде неплохо дела идут?

– Плохи его дела. Лавиной вчера привалило. Шел с помощником, обоих и накрыла. Лавина пошла с противоположного склона... Отрыли мы их часа через четыре, оба уже без сознания были. Сейчас орут в больнице.

– Как орут? На кого?

– А ни на кого. От боли орут. Переохлаждение организма. Боюсь, разговора с ними не получится.

– Может, о бульдозеристах написать? В такую погоду ребята вкалывают, а?

Начальник протяжно вздохнул, прошел к своему столу, поднял трубку, послушал телефонный писк и, положив трубку на место, поднял глаза.

– Не повезло нам и с бульдозером... Женщину вчера задавил. Корейнку.

– Как же это он? – воскликнул Андрей.

– Да как... Очень просто. Переехал и дальше пошел. Двое суток парень из кабины не вылезал, что с него взять... Пурга кончится – суд будет.

– Сколько же ему дадут?

– Ему – не знаю, а мне кой-чего наверняка перепадет. Не имел я права заставлять человека работать двое суток подряд... А куда деваться? Заснул, наверно... А может, и нет... Видимости никакой, ветер, да еще, как на беду, пальто у той женщины светлое оказалось. Наши потом восстановили события – бежала она перед бульдозером метрах в двадцати, а когда из сил выбилась, упала. Боюсь, без ног останется... Да еще Суряднов обморозился... Так что нет у меня ни цифр победных, ни событий радостных... Нет. Была с начала года сверхплановая добыча – всю буран съел. Квартальный план завален. Если в комбинате не пересмотрят, премий не будет, народ бежать начнет... Приезжай весной, а? Весной у нас хорошо, сопки цветут, ручьи, тепло... А осенью на рыбалку съездим, а? У меня с пограничниками контакт, помогут ребята... – Тяжелые морщины на лице начальника дрогнули, но глаза оставались печальными. – Да, я не спросил – ты нашел где позавтракать?

– Все в порядке. В столовой.

– У них же там ни света нет, ни воды?

– Нашли котлеты какие-то... «Солнечным поцелуем» угостили.

– Чем? – Седые кустистые брови начальника полезли вверх.

– Поцелуем. Вино так называется – «Зоненкюсте». Вместо компота продают. И цена почти та же.

– Ишь ты, – начальник усмехнулся. – Надо попробовать. Сам не торопиться? А то сегодня можно выбраться в Южный. Состав оттуда пришел, ротором ребята еле пробились, сейчас под загрузкой стоит. У них там на теплоцентрали уголь кончается, если не подвезем – город замрет. Тоже будет солнечными поцелуями торговать. Смотри. А после бурана приезжай – найдем чего-нибудь радостного.

Андрею хотелось еще побыть в Синегорске, встретиться с Ниной, хотелось без спешки потолковать с начальником, посмотреть, как будет оживать шахта, как будут очищать от снега подъездные пути, лесосклад, как выдадут на-гора первую вагонетку с углем. Хотелось просто пожить в этом затерянном среди сопкок поселочке.

Да, наверно, он привык к постоянному расставанию с новыми местами, новыми людьми. И чем больше ему нравились поселки, распадки, побережья этого края, чем ближе он сходил с людьми, тем сильнее была грусть расставания. И, едва познакомившись с человеком, едва успев обменяться с ним улыбками, первыми словами, он уже вынужден был расставаться с ним, более того – прощаться. Слишком уж невероятной была их новая встреча. Иногда ему казалось, что он ездит по разным местам, знакомится с людьми только для того, чтобы в конце концов попрощаться с ними. И Андрей каждый день прощался с островом, на котором жил, с улицами, по которым ходил, с редакцией, в которой работал, да и вся встреча с Ниной была на самом деле несколько затянувшимся прощанием. Как и все, с чем мы прощаемся навсегда, он любил этот остров, людей, встречавшихся ему в шахтах под землей, в южных портах, на северных буровых...

И случилось неизбежное – Андрей невольно стал избегать всего, что нарушало привычную быстротечность, что грозило чем-то постоянным, потому что знал, наверняка знал – рано или поздно придется расстаться и с этим, но тогда прощание будет слишком уж тяжелым.

Ну вот и все, подумал он, когда начальник шахты, пожилой грузный человек с большой седой головой, сказал ему, что сегодня же можно выехать в Южный. Вот и все... И Андрей осторожно прислонился к спинке стула, почти со стоном прислонился, как человек, у которого где-то на теле заживающая рана.

И уже представляя себя в сумрачной, вздрагивающей на стыках рельс, сверкающей медными деталями, продуваемой снежным ветром кабине паровозика, Андрей пожалел, остро, до боли пожалел, что не встретился с бульдозеристом, который не спал двое суток, не проведal в больнице передового бригадира Суряднова, пожалел, что не будет его здесь, когда пограничники соседней заставы начнут обстреливать из минометов сопки, чтобы столкнуть снежные лавины. И еще пожалел, что все так нескладно получилось с маленькой девушкой Ниной, – он до сих пор помнил ее соленые от слез губы... И Андрея охватило непривычно острое сожаление, будто он по собственной оплошности, слабости прошел мимо чего-то важного, что могло бы осчастливить его надолго.

## А ВЫ НЕ ЖДАЛИ НАС...

Андриян опять проиграл и покорно склонил над столом лысую голову. По его веснушчатым ушам били без наслаждения, но с силой, тщательно примериваясь, не забывая поплевать на карты. Андриян уже не вздрагивал, только видно было, как перед каждым ударом напрягалась его спина.

Когда очередь дошла до Мишки, он взял карты, такие же распухшие, как и уши у Андрияна, несколько раз взмахнул ими в воздухе, словно взвешивал, и бросил на стол. Бить не хотелось.

– Ладно, – сказал он. – Живи. Черт с тобой.

Андриян дернул носом, благодарно взглянул на Мишку и потянулся к колоде. Хотя ему шел пятый десяток, играть он так и не научился, зато сдавал с блеском – быстро и без ошибок.

– На меня не надо, – Мишка поднялся и, пригнув голову, протиснулся в низкий полутемный коридор.

Громяхая сапогами по перекошенным доскам пола, он прошел мимо дежурной, потоптался у выхода и... шагнул наружу. И мгновенно ветер выдул из него все тепло, залепил глаза, волосы до самых корней набил снегом, с силой толкнул в грудь, в спину, стараясь оторвать от спасительной двери. Потерпи Мишка на крыльце еще минуту-вторую – его карманы раздулись бы от снега, и тогда попробуй найти в плотных, подтаявших снежках мелочь, ключи, зажигалку. Между порывами ветра слышно было, как на противоположной стороне улицы непрерывно уже третьи сутки трещал охрипший звонок – в магазине выбило стекла и замкнуло сигнализацию. Мишка усмехнулся, представив, как после тайфуна продавщицы будут выковыривать из снега весы, бутылки, консервные банки...

У этого тайфуна было женское имя – его звали «Исабель». За этим словом ребятам виделось что-то далекое и волнующее, почти несбыточное и такое нежное, какое можно увидеть только во сне, да и то... В общем, не будем.

Тайфун шел откуда-то с Филиппин, и о его приближении говорили в каждом выпуске последних известий. И наконец сообщили: «Исабель» достиг побережья. За какой-то час тайфун накрыл остров плотными, тяжелыми тучами. Вечер наступил раньше обычного, это было заметно сразу. Сумерки сгустились к трем часам, а низкое небо, казалось, совсем легло на крыши домов. Было что-то гнетущее в насадном вое ветра, в снегопаде, в размытых контурах согнутых человеческих фигур. Даже когда совсем стемнело, в слабом свете уцелевших уличных фонарей было видно, как валит снег. Сугробы набухали прямо на глазах, затопляли единственную улицу поселка, подбирались к подоконникам, к крышам. То, что мягкой тяжестью валилось сверху, вряд ли можно было назвать снегом – словом, за которым с детства видится что-то праздничное. Шел совсем не тот снег, который так украшает новогодние улицы, ресницы и так невесомо ложится на провода, заборы, ветви деревьев.

Это была стихия.

По поселку разъезжал единственный тягач, которым пытались если не расчистить, то хотя бы наметить место, где раньше была дорога. После каждого тайфуна дорога превращалась в узкую глубокую траншею, очередной снегопад заносил ее быстро и вроде бы даже с каким-то наслаждением. За зиму дорога поднималась на несколько метров, и никого не удивляло, когда к весне машины ходили на уровне второго этажа.

Чтобы хоть как-то можно было смотреть перед собой, лица приходилось закрывать прозрачными пленками, фанерными дощечками, картонками с прорезями для глаз.

Встречались прохожие и в карнавальных масках, пугающие встречных звериным обликом или застывшей, неживой ухмылкой.

Спешили в порты катера, пароходы, рыболовные суда. Не жалея моторов, таранили сугробы шоферы, торопясь добраться хотя бы до придорожной, заброшенной избы.

К тайфунам можно относиться по-разному. Одни их проклинают, как помеху в делах, другие переносят молча, угрюмо, словно обиды, на которые нельзя ответить, а многие откровенно радуются тайфунам, как неожиданным праздникам. Но как бы там ни было, тайфун не забывается, как воспоминание о чем-то значительном, не до конца понятом, и навсегда остается желание пережить его снова. А когда все утихнет и солнце затопит остров, вспоминаешь не вой ветра, не тяжесть снега, а волнение, необъяснимые, странные желания, которые появились вдруг и с которыми не было сил совладать...

Мишка вернулся в свою комнату и, не зажигая света, не раздеваясь, грохнулся на кровать, забросив ноги в сапогах на спинку. За окном плотной белесой массой раскачивался и гудел снег. Кто его знает, крупный он был или мелкий, валил сверху или откуда-то сбоку. Снег носился между сопками, между домами, как озверевшее существо, до этого тихое и ласковое. Громяхая, летели куски жести, доски, остатки красивой наглядной агитации. Не в силах вырвать деревья из мерзлой земли, ветер выламывал их и таскал по поселку, пока не забрасывал куда-нибудь в сопки.

Окно было занесено почти полностью. Только по узкой полоске вверх можно было догадаться, что еще не стемнело. Через час эта полоска исчезнет, и утром дневной свет можно будет увидеть лишь с чердака. А если и завтра тайфун не кончится, от общежития останутся лишь две тощие трубы.

Говорили, что такой зимы не было уже лет пятьдесят, а может, и все сто. Но это говорили о каждой зиме. Мишка считал, что такой вообще не было и больше не будет. Морозы его не пугали, они в этой части острова не опускались ниже двадцати. Все дело было в буранах. Каждые две-три недели они напрочь заметали дороги и останавливали все движение. Стынули в сопках поезда, так засыпанные снегом, что их потом не сразу находили даже с вертолетов. Бульдозеристы, уткнувшись в сплошные сугробы, выключали моторы – неизвестно, сколько придется ждать помощи. Летчики, предупрежденные метеослужбой, тут же разворачивали самолеты и уходили на материк, на Камчатку, куда угодно. А в аэропортах острова готовились к многосуточному ожиданию неудачливые пассажиры: за полчаса разносили в буфетах все, от леденцов до коньяка, а кому удавалось раздобыть кресло или, на худой конец, табуретку, считал себя устроенным.

Но транспортные неурядицы мало беспокоили Мишку. Самое неприятное было в том, что после каждого бурана приходилось заново раскапывать строительную площадку, искать под снежными заносами панели, доски, металл. Еще с осени, начав строить пятиэтажный дом для леспромхоза, ребята до сих пор не могли выйти из нулевого цикла.

А по радио передавали, что в Москве утро, а на Украине необычайно рано зацвели вишни, начался сев и передовые колхозы уже обработали тысячи гектаров. И еще передавали, что в Крыму и на Кавказе открылся оздоровительный сезон, в Средней Азии отцвел миндаль, а садоводы Грузии...

Мишка скрипел кроватью, щипал рыжую бороду и тосковал. Он встречал на острове третью зиму. Далеко не всегда было ему здесь сладко и весело, но он считал, что так и должно быть. «Блажь», – говорил он, когда задерживали зарплату, когда не за кем было приударить, когда его заметало снегом или вот так, неделями, приходилось валяться в общежитии. Это было нормально, потому – остров. Все три года Мишка прожил здесь в приподнятом настроении. Он чувствовал себя на переднем крае, в особых условиях. Условия были труднее, хуже, но особые. И Мишке это нравилось. Уж если буран – так на полную катушку; если мороз – так чтоб визжало под ногами; если снег – чтоб одни трубы торчали.

Но сегодня, когда на Украине необычайно рано зацвели вишни, а в Москву доставили первые партии цветов из Грузии и начали продавать их на станциях метро, ему стало невоз-

готу. И все неприятности, которые он три года, не глядя, сбрасывал в дальний чулан своей души, вдруг вывалились, будто сломав какую-то перегородку, и Мишке стало жаль себя. Вспомнилось, что где-то на материке у него есть жена, которой он посылал к праздникам открытки, а она поздравляла его телеграммами с днем рождения. Жизнь у них не задалась, и Мишка впервые подумал о том, что во всем виноват, конечно, он. И все, что у него когда-то произошло с той девчушкой в длинном платье цветочками и неумелой завивкой, показалось чуть ли не лучшим из всего, что вообще было в его жизни. Как же она тогда, бедная, привязалась к нему! Он не знал, да и не хотел знать, была ли это любовь, но то, как она бегала за ним, будто собачонка, как слушалась его, вдруг припомнилось настолько четко, с такими подробностями, что Мишка застонал от стыда. И стало совсем паршиво.

Полоска в верхней части окна стала намного уже и потемнела. Слабый свет пробивался лишь из коридора через маленькое окошко над дверью. Мишка резко повернулся, сбросил ноги на пол и сел, уставившись в темноту. На острове была уже ночь, а он видел яркое полуденное солнце, лужи на асфальте, цветы в корзинах у метро и понимал, что больше всего на свете ему хочется сейчас расстегнуть ворот рубашки и подставить лицо под слепящий солнечный свет, который теплыми волнами струится по тебе, а ты идешь по своей улице и чувствуешь жар разогретых булыжников. А в воздухе – тополиный пух, пахнет корой деревьев, и блестящие черно-синие скворцы роются в теплой земле...

И была вещь, которая делала все это до ужаса доступным. Казалось, достаточно открыть какую-то дверь, чтобы сразу перешагнуть через восемь часовых поясов и попасть в Москву, увидеть над головой высокое весеннее небо. Несколько дней назад строителям выдали тринадцатую зарплату за прошлый год. Ее должны были дать еще в декабре, но, пока согласовали кучу бумажек, кончился март. Так вот, зарплаты этой вполне хватало, чтобы два раза пересечь всю страну из конца в конец.

Не колеблясь больше, Мишка полез в чемодан, достал ученическую тетрадку, вырвал несколько листков и сел к столу. А еще через полчаса все было решено. На его просьбе об увольнении стояли все необходимые подписи. Бригадир жил с ним в одной комнате, мастер – за стенкой, а главный инженер стройуправления занимал маленькую комнатку в конце коридора.

Вылетел Мишка через неделю, как только кончился буран и бульдозеры пробили дорогу в аэропорт. Расположенный в центре острова, он служил своеобразным перевалочным пунктом, откуда можно было с равным успехом попасть на Курилы, в Южный, на Камчатку или материк. Мишка вылетел на материк. В самолете голубые стюардессы на голубых подносах подавали ему леденцы, и Мишка осторожно брал конфетки большими сильными пальцами, из которых не исчез еще вьевшийся мазут. Он настороженно смотрел стюардессам в глаза, будто примериваясь к новым людям, новым порядкам.

Потеснив какого-то типа с потертым клеенчатым портфелем, вытянув ноги, Мишка откинул кресло и погрузил нос в воротник толстого свитера. Из него еще не выветрились запахи хвои, смолы, и Мишка с удовольствием вдыхал их всю дорогу. Ему казалось, что он летит в надежную и безопасную берлогу, где его ждут и куда он уже давно должен был вернуться. Впервые Мишка подумал о том, что каждому нужен такой вот угол, куда всегда можно вернуться и зализать раны.

Мишка волновался. Такое состояние было у него лет пятнадцать назад, когда он возвращался из пионерского лагеря. И тогда, и сейчас Мишке больше всего хотелось, чтобы кто-нибудь его встретил. Но он знал – встречающих не будет. И приятная ноющая грусть охватила его. Сообщить о приезде ему казалось неприличным, будто он заранее требовал внимания к себе, требовал, чтобы люди бросили дела и поспешили на вокзал выразить ему свое почтение. Мишка всегда приезжал неожиданно.

С Зоей прожили они чуть больше года, неважно прожили. Пацаном был, подумал Мишка, дешевой. Зоя запомнилась ему в двух случаях – когда из-за нее на танцах ему бока намяли и

еще когда она пришла в аэропорт проводить его. Шел дождь, вылет несколько раз откладывали, снова назначали, а они, издерганные дикторскими командами, сидели в потертых креслах со сбившимися чехлами и молчали. Иногда Зоя начинала тихо плакать и так же тихо, как дождь за стеклами, переставала. Она беспрестанно поправляла светлые волосы, которые даже здесь, в аэропорту, пахли невеселым их жильем, поправляла платок, платье, потом одергивала чехол на кресле. И еще Мишка помнил, как она все время порывалась погладить его по руке, а он, словно не замечая этого, разглядывал ресторан сквозь стеклянные двери, девчушек в коротких платьях, золотистые бутылки коньяка на витринах и думал о том, что все это будет ему доступно ровно через полчаса – как только самолет поднимется в воздух.

Но попал он в места, где ничего этого не было – ни девчушек с загорелыми коленками, ни золотистого коньяка, ни развеселого житья. Но Мишка не разочаровался. Он считал, что так всегда бывает, и привык получать совсем не то, чего хотел.

– Домой еду, понял? – Мишка ткнул локтем своего соседа с клеенчатым портфелем. – Три года дома не был, понял?

Сосед с удивлением посмотрел на него и кивнул. Потом сел поудобней, откинул голову и закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен и что он вполне солидарен с Мишкой.

– Жена ждет, – соврал Мишка. – Пишет, соскучилась. – Он снова ткнул соседа. – Слышь? Она не знает, что я уже в воздухе. Вот будет потеха, а? – Мишка засмеялся. – На острове три года отбарабанил, а спроси меня – какого хрена я там искал, что нашел, что потерял? – и ответить нечего. Хотя если говорить о потере, то три года, конечно, коту под хвост. Не пойму – зачем я туда поехал? Убей – не пойму. Загорелось – и умотал. Жену молодую оставил, ребят... Ведь зачем-то я это сделал, а? Три года как в угаре, как с похмелья, – Мишка внимательно посмотрел на соседа, словно желая убедиться, знает ли тот, что такое – с похмелья. – Как будто сам себя приговорил к сроку и сам себя выслал... Ха! Если бы я один! Спрашиваю ребят – вы откуда? Из Москвы, говорят. А вы? Из Ленинграда, из Киева, из Ярославля... Из каких городов, а! Живи – не хочу! Спрашиваю – какого черта вы здесь? Смеются. Понял? Сами не знают. Если б срок им дали на год и отправили туда же – удавились бы с тоски. А сами приехали – и по три года живут, и по пять, и совсем остаются... Жен к себе вызывают, детей... А дома ребята, троллейбусы, знакомочки... Представляешь, глотки рвут, все доказывают друг другу, что лучше: Москва или Калуга. Понял? Глотки рвут. А был бы остров еще подальше нашего – и туда поехали бы... Да и я тоже. Лишь бы подальше, подальше, подальше! – как заклинание повторил Мишка, глядя в иллюминатор.

– От чего подальше? – улыбнулся сосед.

– Откуда я знаю... Подальше, и все.

– От жены, без которой жить не можешь? Да? От города, который снится каждую ночь? Да?

– Ты не лыбься, – строго сказал Мишка. – Не надо. Ты знаешь, сколько ребят по островам, по всему Северу, по тайге, по местам, что приравняли к Северу, знаешь?

– А как же! От жены бегут, от алиментов, от долгов...

Мишка удивленно посмотрел на соседа, отвернулся, опять посмотрел, отгородился плечом.

– Зануда ты, – сказал просто, даже как-то с сожалением. – Еще не платишь алименты? Нет? Ну ничего, будут алименты, будут.

– С какой это стати? Я от жены не собираюсь на острова удирать.

– Она удерет, – убежденно сказал Мишка. – Понял? Удерет, – повторил он твердо. – Вот приедешь домой, а на столе записочка... Большой привет, написано, большой поклон.

Сосед ничего не ответил. Он обиженно откинулся в кресле и закрыл глаза. Но не задремал, нет. Под веками глаза его тревожно бегали, будто он в этот момент видел что-то нехорошее, беспокойное.



– Прошу застегнуть ваши ремни, – сказала девушка, выглянув из пилотской кабины.

– А почему вы решили, что мой ремень расстегнут? – тут же спросил Мишка, но девушка не слышала его.

Уже в аэропорту Мишка вдруг заметил себя в большом зеркале и понял, что отличается от людей, которые окружали его. И не только ростом, бородой... главное было в другом. За три года у него появилась вызывающая манера вести себя; сам того не замечая, Мишка будто каждую секунду доказывал право на тот или иной свой поступок, заявлял о готовности постоять за себя. Да еще эти громадные ботинки с рубчатой подошвой, сумка с ремнем через плечо, свитер толщиной чуть ли не в два пальца... Ему уступали дорогу, сторонились.

Мишка насторожился.

В автобусе он сцепился с парнишкой. Тот был на голову ниже, уже в плечах, но смотрел со спокойной насмешливой улыбкой. «Он даже не верит, что я могу двинуть его, – подумал Мишка. – А ведь я запросто могу двинуть. И это даже не испортит мне настроения».

– Напрасно ты так, – сказал он парню.

– Что напрасно? – улыбнулся тот.

– Я ведь не знаю ваших здесь порядков... могу сделать что-то не так...

– О чем, собственно, вы?

– Давай не будем, – сказал Мишка. – И на «вы» не надо. Понял? – он взял парня за руку чуть пониже плеча, сжал так, что тот губу закусил, и отодвинул его в сторону, потеснив сразу несколько человек.

Мишка сошел на первой же остановке, подивился обилию бутылок в гастрономе, взял пару подиковинней и опустил их в сумку. Он слегка растерялся, увидев на улицах такое множество девушек с открытыми плечами, в светлых легких платьях. Они мимоходом взглядывали на Мишку, иногда он слышал за спиной смех, безобидный, в общем-то, смех.

– Скажите, молодой человек, вы откуда? – спросила его большая девушка с копной рыжих волос. Она улыбалась, смотрела на него открыто и вызывающе. И улыбались две ее подруги.

Мишке показалось, что в этот момент остановилась вся улица, все прохожие и даже продавщицы в киосках вытянули шеи, чтобы посмотреть на него, услышать, что он ответит, и в любом случае – рассмеяться. И Мишка ничего не ответил. Покраснел и прошел мимо. Он совсем лишился уверенности, казался себе неуклюжим и чужим здесь, на своей улице. Даже попав три года назад в Оху, он не оробел, как сейчас, хотя там действительно люди на улице внимательно смотрели друг другу в глаза. В чем дело, Мишка понял в первый же день.

– Извините, – сказала ему женщина, которая шла навстречу, – у вас уши белые.

– А у вас вся спина белая, – не растерялся Мишка, но только войдя в гастроном, сообразил, что хотела сказать женщина. Он не на шутку испугался, увидев в зеркале, что уши его в самом деле белые. Они походили на осколки фарфоровой чашки и только у самого основания слабо отсвечивали розовым.

Мишка криво усмехнулся, вспомнив тот случай. Домой он поехал на автобусе, хотя идти было недалеко и он с удовольствием прошелся бы по городу. Не хотел, чтобы на него пялили глаза. Когда автобус приближался к знакомому перекрестку, Мишка подошел к водителю. Остановка была рядом, но ему хотелось показать всем этим пассажирам, всем этим... в общем, показать, что он знает город не хуже их, что он просто вернулся домой.

– Послушай, друг, – громко обратился он к шоферу, – останови у киоска, а? Понимаешь, встать мне там нужно... Жил я там, понимаешь.

Шофер быстро взглянул на него, ничего не ответил, но у киоска остановил машину.

– Спасибо, друг! – опять громко сказал Мишка и победно оглянулся на пассажиров.

У своего дома он совсем разволновался и от этого стал угрюмее. Его озадачил вид окон, за которыми он жил когда-то. Там висели цветастые шторы, в раскрытую форточку был виден большой абажур, шкаф со стеклянными дверцами... Мишка подождал, пока пройдут ребята,

потом его задержала пожилая пара, потом пацаны начали шушукаться, глядя на него не то с восторгом, не то с опаской...

Анекдот, подумал Мишка. Сейчас будет анекдот. Это уже точно. Анекдот на всю жизнь...

Мишке показалось, что сейчас произойдет такое, о чем можно будет рассказывать при каждом удобном случае, а ребята по любому поводу будут говорить, что это, мол, точь-в-точь, как было с Мишкой, когда он домой вернулся, к жене. Мишка представил, как будут произноситься эти слова, как будут хохотать ребята и он вместе с ними, а какой-нибудь новичок попросит рассказать подробнее, и он, конечно, расскажет, и все опять расхохочутся, как в первый раз.

Тяжело переставляя ноги, он поднялся на второй этаж, остановился у знакомой двери и глубоко, прерывисто вздохнул. Поставив сумку на пол, вытер ладони о штаны, нажал кнопку звонка и осклабился, растянув посеревшие губы. «А вы не ждали нас, а мы приперлися», – проговорил он слышанные где-то слова.

Звонок прозвенел неожиданно громко, и тут же открылась соседская дверь. Мишка, не глядя, с силой захлопнул ее.

– Извините, это вы звонили? – В дверях его квартиры стоял парень в пижаме.

Сейчас я его промежду глаз, подумал Мишка, и тогда уже все будет точь-в-точь, как в том анекдоте. Предчувствие не обмануло Мишку, и это странным образом действовало на него, он почти успокоился.

– Извините, вам кого? – снова спросил парень.

– Кого? Я ищу Зою, Зою Петровну, между прочим.

– А вы, собственно, кто будете?

– А я, собственно, ее муж. Миша я, понимаешь?

– Вы... Зои нет дома.

– Ладно, давай не будем.

– Просто я... вы можете подождать ее... Проходите, пожалуйста.

– Можно, значит?

– Отчего же, конечно.

– Туда, значит, я попал?

– В самый раз. Кстати, меня Петей зовут.

– И правильно делают, – Мишка хамил из последних сил и не мог сообразить, что же ему делать дальше.

Едва он вошел, как сразу понял, что это не его квартира. И берлогой она ему никогда не будет. Он беспомощно оглядывался по сторонам, надеясь увидеть хоть одну знакомую вещь...

– Зоя скоро придет, – сказал Петя. – За ребенком пошла. В детсад... А я, знаете, сразу подумал, что вы и есть Миша... Я вас видел в окно, вы долго стояли на той стороне улицы.

– Слушай, Петя, где я стоял и где сидел – не твое дело. Ты мне лучше скажи, кто ты такой и какого черта здесь оказался?

– Как вам сказать... Я тоже муж. – Он посмотрел на Мишку почти спокойно, во всяком случае, без боязни. – Садитесь, чего мы стоим...

Мишка подошел к нему вплотную, пятерней захватил пижаму со всей небольшой груди парня, притянул его к себе, приподнял, не спеша отвел назад свободную руку для удара, но, посмотрев вниз, увидел, что босые ноги Пети беспомощно болтаются в воздухе, а комнатные туфли с нашитыми заячьими хвостиками остались лежать на полу. И Мишка отпустил его. Сначала хотел врезать ему и после этого уйти, хлопнув дверью. Именно так он должен был поступить, чтобы потом было что рассказать, и еще потому, что так ведут себя хорошие ребята в анекдотах. Книг Мишка почти не читал, и вовсе не потому, что не испытывал к этому делу желания. Когда живешь в маленьком поселке на краю света, тем более в общежитии, трудно заниматься чем-то своим или просто побыть одному. Приходится делать то, что делают все. И

естественно, отношение ко многим вещам у Мишки сложилось под влиянием анекдотов, рассказов о всяких случаях, трепа после работы. Постепенно ему стало казаться, будто он живет в каком-то анекдоте, который рано или поздно придется рассказать ребятам.

Все было просто и ясно. Не нужно каждый день принимать решения, он считал предосудительным иметь какие-то особые желания, вкусы. И даже когда дело касалось только его, Мишка предпринимал что-либо, только заручившись поддержкой ребят, хотя бы мысленно. Но, увидев на полу комнатные тапочки, болтающиеся над ними босые ноги, увидев часто моргающие глазки, он опустил Петю, хотя это было неправильно.

– Ничего, – сказал Петя. – Бывает.

– Какая у нее теперь фамилия? – спросил Мишка первое, что пришло в голову.

– Такая же. Ведь вы не разведены.

– Ясно. А сколько дитю?

– Два года. Будет.

– Твой, значит, – Мишка произнес это не то утвердительно, не то с вопросом.

– Мой, – сказал Петя.

– А зовут?

– Михаилом зовут. Зоя назвала.

– Ясно. Михаил Петрович, значит.

Мишка подошел к столу, сел, тяжело положил руки на белую скатерть.

– Что делать будем? – спросил Петя.

– А черт его знает! – Мишка и в самом деле не знал, что делать. А впрочем, знал. Решение для такого случая у него уже было, оставались лишь колебания – уйти сейчас или через пять минут.

– Послушай, – начал Петя. – Что вышло, то вышло. Не вернешь. Когда ты уехал, Зое здесь неважно было... Да ты и сам знаешь...

– Ну? – угрожающе буркнул Мишка. – И что дальше?

– Не хочу, чтобы ты меня подонком считал... но вот что я скажу... Если останешься – все пойдет прахом. И у нас... И у вас тоже, наверно.

Петя помолчал, подошел к окну, выглянул на улицу. Его шуплая фигурка в широких пижамных штанах, в пушистых комнатных туфлях казалась растерянной и беспомощной.

– Если захочешь, – снова заговорил он, – Зоя уйдет к тебе. Я знаю. Мне не удержать ее. Уйдет и сына заберет... Если захочешь, конечно. Смотри. Это точно... Смотри.

– Нет, – сказал Мишка и поднялся. – В душу мать такую любовь. Уже ничего не получится. Два письма в год – это и в самом деле маловато. Вот, – он вынул из кармана пачку пятирублевых в банковской упаковке и положил на стол. – Пользуйтесь.

– Подожди, – остановил его Петя. – Ты как хочешь, но я... я не скажу ей, что это твои деньги. Мне нельзя...

– Это почему же? – глянул исподлобья Мишка.

– Я же сказал...

– А-а, – Мишка усмехнулся жестоко и зло. – Ну ладно...

Он вскинул на плечо широкий ремень сумки, сунул в карман деньги и направился к двери. Ему не хотелось уходить отсюда, зная, что через несколько минут придет Зоя, приведет своего пацана, и он, Мишка, после трех лет сможет посмотреть на нее, поговорить... Несмотря ни на что, у Мишки не было обиды на нее.

И он стоял, глядя в пол, колеблясь и в то же время зная совершенно твердо, что уйдет. Он не мог не уйти, потому что остаться – значило нарушить все законы, по которым жил до сих пор. Желание остаться только усиливало уверенность в том, что он все-таки уйдет.

– Стойте! – воскликнул вдруг Петя, стоявший у окна. – Зоя идет. Вы столкнетесь!

– А тебе что до этого?

Мишка ощерился, но, увидев неподдельный ужас в глазах Пети, сжалился.

– Не столкнемся, – сказал он – Выше поднимусь.

Мягко, но прочно щелкнул замок за его спиной. Мишка представил себе маленького человечка за дверью и досадливо плюнул под ноги. Внизу хлопнула дверь. Послышался детский голос, потом женский. Мишка поднялся на один пролет и остановился. Сквозь прутья перил он увидел, как Зоя легко взбежала на площадку и, нажав кнопку звонка, поставила рядом с собой ребенка. Никаких косичек, бантиков... Волосы падали на плечи. Резким движением головы Зоя отбросила их назад. Открылась дверь и тут же захлопнулась со знакомым щелчком. Все.

Мишка спустился вниз, пересек двор, прошел полквартиры пешком, потом поймал такси. В аэропорт он успел как раз вовремя – самолет отправлялся через полчаса. В Хабаровске у него был выбор – лететь сразу на Зональное или с пересадкой в Южном. Мишка выбрал прямой вариант. До отлета он успел выпить в прозрачном ресторане возле аэропорта, причем выпил настолько крепко, что его не хотели даже пускать в самолет, но все уладилось. Над Татарским проливом он спал, спал Мишка и над островом, а проснулся, уже когда самолет шел на посадку в Зональном и за иллюминатором мелькали черные флажки посадочной полосы. Окончательно Мишка пришел в себя только в автобусе. Дорогу еще не расчистили после бурана, и машина часто останавливалась, пропускала встречные лесовозы. Мишка равнодушно рассматривал снежную пустыню, черные ветки лиственниц и уже возле самого поселка вдруг с удивлением обнаружил, что у него есть чем потешить ребят.

«Ну а ты?» – спросят они.

«А что я... Взял его за грудки и... Как раз напротив стена была... Сейчас там проход. Подровнять только немного осталось».

«А она?» – спросят ребята.

«Что она... – скажет Мишка. – Известно, баба».

И все рассмеются понимающе, и Мишка вместе со всеми, хотя он даже не представлял, что стоит за этими словами. Да и стоит ли за ними что-нибудь, кроме желания отгородиться от вопросов, защититься как-то...

Он шумно ходил по коридору общежития, громыхал сапогами, громко переговаривался с ребятами на стройке, но не мог, не мог заглушить в себе беспокойства, не мог избавиться от какой-то неуверенности. Больше того, он не хотел и возвращения прежнего своего состояния, беззаботного и легкого. А еще ему временами казалось, что никуда не летал, что и Петя, и Зоя с мальчишкой приснились в долгую ночь под завывание тайфуна, что стоит заказать разговор с Москвой – и все станет на свои места. Но две пустые диковинные бутылки под кроватью, купленные в московском гастрономе, неопровержимо доказывали обратное.

Ребята, конечно, заметили перемену в Мишке, его уязвимость. Он, как и прежде, мог, не задумываясь, ответить на шутку, подковырку, но теперь все видели, что отвечает он чуть ли не с болью, делая над собой усилие. Появилось у Мишки ощущение, будто занимается он не своим делом и живет не там, где ему положено жить, будто эти три года как-то загипнотизировали его, внушили что-то чужое ему, совсем чужое.

После работы он не торопился в общежитие, бродил по берегу, ссутулившись и сунув руки в карманы. А перед глазами покачивалась решетка лестничного пролета, а за ней – Зоя со своим пацаном. И их голоса. Почему-то хорошо запомнились голоса, они будто записались в нем на чем-то...

Однажды, когда он вот так прогуливался по берегу, поддавая ногами комья лежалого снега, его вдруг охватила острая, как приступ, тоска по самой обыкновенной пыли. Он невольно представил себе, как идет плохонькой проселочной дорогой, как обгоняет его дребезжащий грузовичок, поднимая в воздух клубы горячей пыли. И он ничего не видит, пыль

оседает на волосы, на лицо, скрипит на зубах. Мишку захлестнула волна горького, несбыточного счастья.

Тогда же к нему подошел Андриян. Некоторое время шел рядом, молча, искоса поглядывая на Мишку, чуть шевеля красными оттопыренными ушами. Потом тронул за рукав, остановил.

– Ты вот что, Мишка, – сказал он, – ты мотай отсюда подобра-поздорову. Понял? Мотай, пока не поздно.

– А что, может быть поздно? – Мишка хотел задать этот вопрос куражливо, но не получилось, вышло как-то уж больно всерьез.

– Как бы уж не было поздно... – Холодный сырой ветер высекал из красных глаз Андрияна слезы, и они рывками скатывались по щекам, застревая в рыже-седой щетине. – Мотай, Мишка, мой тебе совет.

– Ох, Андриян! – тяжело перевел дыхание Мишка. – Было бы куда...

– Образуется, – спокойно сказал Андриян. – Все образуется. Там. А здесь ты ничего не выходишь. Душа поболит, поболит, ты ее полечить захочешь... А когда лет через двадцать протрезвеешь... Мотай, Мишка. Да что я тебе говорю, ты уж и так весь там... Баба-то твоя небось живет с кем-то?

– Живет, – открылся Мишка.

– Нехорошо это, – Андриян нахмурился, опустил голову, сочувствуя.

– Хорошего мало.

– Надо бы порядок навести... Пожила, и будя. И вот что, Мишка, ты не швыряйся бабой-то, это в анекдотах с той пошел, с этой пришел... В жизни-то маленько иначе, в жизни вона как получается.

– Пацан у моей родился, – неожиданно сказал Мишка, глядя на потемневшие к весне прибрежные торосы.

– Вот те на! – вырвалось у Андрияна. Но он тут же поправился: – Пацан – это хорошо. Кормилец вырастет.

– Так не мой пацан-то! Не мой!

– Будет твой, – просто сказал Андриян. – Вырастишь – и твой будет. А тот... папаша, он уж получил свое. Хватит с него. Перебьется. Неча по чужим женам шастать.

– Да он тоже вроде парень ничего...

– И опять хорошо, – рассудительно проговорил Андриян. – Дельный парень без бабы не останется. Там, говорят, «Исабель» возвращается... Пронесется – и мотай. Телеграмму дай, пусть встретит, цветы на стол поставит, пирог испечет, чтоб все было как у людей. Пацана пусть принарядит, чтоб понравился он тебе, а ты про гостинец не забудь... – Андриян быстро взглянул на Мишку, помолчал, будто собираясь еще что-то сказать, но повернулся и, глядя под ноги, зашагал к общежитию.

Мишка проводил его взглядом, поднял голову и долго искал в небе еле слышный самолет, а найдя в просветах между облаками серебристую искорку, обрадовался, будто только за этим и было дело.

## ЯМА НАД ГОЛОВОЙ

Когда кончилась эта затянувшаяся смена с криками, беготней, руганью, слезами и прочими вещами, сопровождающими завал в шахте, и я с загипсованными конечностями лежал, похожий на куколку шелкопряда, вспомнилась мне история об одном друге, который девятнадцать лет получал высшее образование. За эти годы он стал легендой института, даже его гордостью. На его защите диплома в зале не могли вместиться все желающие. А он, получив, наконец, синюю с тисненым гербом книжечку, на следующее утро проснулся одиноким грустным стариком. Будто на пенсию вышел. И, отработав день в должности инженера-геодезиста, плелся в институт, бродил там по полутемным коридорам пугливой тенью, прислушиваясь к голосам в аудиториях, вздыхал тягостно и опустошенно. Если раньше встреча с преподавателем была обоюдно радостной, то теперь он вынужден был прятаться за колоннами, нырять в подвал или взлетать на чердак, едва только показывался кто-либо из знакомых. Он стал чужим в этих стенах.

Все это я к тому, что мне такая судьба не грозит. Не то что девятнадцать, даже полных трех лет мне не удалось продержаться в институте. Есть люди, которые могут иногда использовать кулаки по прямому назначению, и это не мешает им получать повышение по службе. Но мне не повезло – подрался только один раз, но мой неуправляемый всплеск получил такое общественное звучание, что пришлось уйти с третьего курса. И едва я с документами в кармане спустился по гранитным ступенькам института, появилось странное чувство, будто рядом образовалась пустота. Была жизнь – с ребятами, занятиями, хлопотами, с целым укладом, и вдруг все то исчезло. Нет ничего. Провал. Где-то рядом все это продолжается, временами даже голоса доносятся, письма приходят, но я к тому миру уже не имею никакого отношения. Жизнь там идет вроде как на экране – без тебя. И нет никакой возможности снова оказаться в той яркой, веселой толпе друзей. Там, на экране. Сидишь в темноте, невидимый, неслышимый, затаившийся и смотришь, как живут люди. Завидуешь им? Нет. Но обидно бывает до чертиков. Ведь и ты мог быть там, был уже... Сорвалось. Будешь знать, как волю рукам давать.

Собирая в общежитии свои вещички, наткнулся я на адрес Юрки, с которым три года назад поступал в горный институт. Он провалился и уехал к себе, на остров. Когда я написал ему письмо, ответ пришел на удивление быстро. В конверте, кроме теплых слов, лежало разрешение, которое давало мне право выехать на остров. Так мы снова оказались вместе.

В тот день я сидел на своей койке в шахтерском общежитии, смотрел в окно и ждал, когда покажется девушка Марина. Родители ее, люди строгих нравов, предоставили мне единственную возможность общаться с Мариной каждый вечер – поступить в вечернюю школу. Поскольку она ходила в восьмой класс, я тоже пошел в восьмой. Кстати, получить среднее образование Марина предложила мне сама. Почему она решила, что у меня его нет, не знаю. Видом, наверно, не вышел. Потерял я не много – в нашем поселке вечером все равно деться некуда. В самом полном и прямом смысле слова. Некуда. Бошняково – так называется наш поселок. Попробуйте найдите на карте. Могу подсказать – ищите в центральной части острова, на берегу Татарского пролива.

Марину я увидел, едва только она вышла из-за угла старого дома. Она осторожно держала в руке несколько тетрадок и изо всей силы не смотрела в мою сторону. Увидела меня лишь в последний момент, когда уже по всем законам оптики нельзя было не увидеть.

– Привет, – сказал я. – Нам, кажется, по пути?

– Не уверена, – Марина наказывала меня за вчерашний прогул. Что ж, если человек надеется рано или поздно заарканить принца, ему можно простить повышенную требовательность к ближним. Если, конечно, этим ближним не слишком часто напоминают, что они-то уж никак не принцы. Марине далеко не все нравилось во мне, но против профессии проходчика

она ничего не имела – по бошняковским понятиям это очень приличная, достойная, уважаемая, обеспеченная профессия. И еще ей нравилась моя преданность, хотя за это надо было благодарить не меня, а наше географическое положение: с одной стороны пролив, а с другой – сопки, сопки и еще раз сопки. А если взбредет пойти через них, то кончатся они на самом берегу Тихого океана. Так что лучше оставаться на месте, в Бошняково, и хранить верность примерной девушке Марине.

– Послушай, – сказал я, – давай к морю сходим, а?

– Ты что, моря не видел?

– Да надоело, понимаешь, всякую муру слушать... Хочешь, я тебе на берегу расскажу все, что нам сегодня будут выкладывать? Хочешь?

– Может, ты и учителя заменишь? – спросила она, наклонив голову. Будь я менее воспитанным, мог бы подумать, что как-то занудливо она это спросила.

– Марина, о чем говоришь! Разве можно вот так просто проходчику средней руки учителя заменить! Пошли на берег, а? Я тебе такое расскажу...

– Какое? – спросила она, стараясь выглядеть не очень заинтересованной.

– Расскажу, что я думаю, когда на тебя смотрю.

– Что же ты думаешь?

– О! Об этом нельзя говорить за партой. Об этом можно говорить только на берегу моря, под шелест пальм... Ну, на худой конец сойдет и шелест волн Татарского пролива. Так идем? Я слышал, сегодня потрясающий закат намечается.

– Витька, а ты ведь вчера прогулял!

Мне оставалось только вздохнуть. В школу мы пришли молча, так же молча втиснулись в парту. Учителя математики в школе не было, его заменял наш маркшейдер Алексей Иванович. Кончив объяснение, он посмотрел в класс.

– Ну что, ребята? Все понятно?

И два десятка взрослых людей с тяжелыми мозолистыми ладонями – проходчики, горнорабочие, такелажники – опустили глаза, засопели деловито, озабоченно.

– Значит, понятно. Давайте проверим... Никитин.

– Боюсь, что ни к чему это, Алексей Иванович, – сказал я.

– Но я ведь только что спрашивал – понятно или нет... Почему же ты молчал?

– Когда вы объясняете – другое дело... А так...

– Марина, если он на второй год останется, это будет и твое поражение, – сказал Алексей Иванович, хмурясь, поскольку был уверен, что хороший учитель должен хмуриться.

– Так ему и надо, – ответила Марина, и я даже не понял, в шутку она это выдала или всерьез. – Ты для себя учишься, а не для меня, – повернувшись ко мне, сказала Марина по-старушечьи рассудительно. Не понравились мне ни слова ее, ни тон.

Тогда я встал, подошел к доске и, взяв за холку это несчастное, жалкое, никчемное уравнение, с помощью интегралов, дифференциалов и прочих запрещенных приемов, на которые меня три года в институте натаскивали, начал мять его, подбрасывать, топтать ногами, завязывать в узлы, рассекать эти узлы одним взмахом кривой шашки интеграла. Я игрался с уравнением, как большой пес со щенком. А когда на доске не осталось ни одного квадратного сантиметра свободного места, в самом уголке написал ответ: игрек равен нулю.

И положил мел. И стряхнул пальцы. И невинно посмотрел в окно.

– Ну что ж, все правильно, – спокойно сказал Алексей Иванович. – Игрек действительно равен нулю. – И склонился над столом. Через его плечо я заглянул в журнал – что поставит. И увидел, как он аккуратно вычеркивает мою фамилию. – Ты можешь посидеть до конца урока. Если хочешь.

Иногда так приятно чувствовать себя незаслуженно обиженным, что ничего другого и не хочется. Сладкая, ноющая боль оскорбленности разливается по душе, и хочется как можно дольше носить ее в себе, беречь и лелеять.

Дождавшись конца урока, я молча собрался и пошел к морю. Волн не было. Солнце покачивалось на горизонте, как детский воздушный шарик, который вроде плавает на воде. Рядом экскаватор грузил для поселковых нужд песок в самосвал, тощий парень по прибрежной полосе катался на велосипеде, и за ним без усталости бегала маленькая собачонка.

Сопки нависали над поселком громадные и почти голые. Только густая щетина коротких черных пней украшала их крутые гладкие склоны. Говорили, что лес сожгли еще японцы, сжигаясь после войны. Тогда же они и шахту затопили, взорвали выработки. Шахта уже работает – будь здоров! А сопки так и остались голые.

Каждый раз, когда я вот так издали смотрел на поселок, почему-то становилось грустно. Потом понял отчего это – я знал, что наступит время, когда меня здесь не будет, когда о поселке буду только вспоминать. А уезжать придется. Возможно, вернусь сюда, чего не бывает. Но уезжать надо. В конце концов из института меня исключили только на год, а здесь я уже все два. Пора и честь знать. Декан на мое письмишко ответил, мол, милости просим.

Солнце зашло, стало темней и прохладней. Сопки над поселком вроде стали больше, совсем нависли, приблизились. Хоть бы огонек где мелькнул – нет, глухо. Где-то там, в синеве сопки, проходила дорога, единственная ниточка к большому миру.

Услышав шаги, я оглянулся. Марина.

– Что, закатом любишься? Знаешь, что сказал Алексей Иванович? Он сказал, что ты показал неплохое знание математики по программе высших учебных заведений.

– Ему виднее.

– Витька, зачем же ты в восьмой класс пошел?!

– А разве не ты мне предложила?

– Так ты из-за меня?! Ой, Витька... Что же теперь будет?

– Ничего не будет. Алексей Иванович меня уже из списка вычеркнул. Послушай, Марина... Почему ты не хочешь, чтобы мы чаще встречались?

– И так почти каждый день видимся...

– Вот именно – видимся. В школе. Почти по службе. Так почему все-таки, Марина?

Она прошла вперед, оставляя на песке четкие следы резиновых сапожек, остановилась у самой воды. Спокойные волны, набегая на берег, затопляли ее сапожки до щиколоток и опять отступали. Марина сделала еще несколько шагов в глубину, потом вернулась и села рядом на деревянный ящик.

– Понимаешь, Витя... Я думала, ты знаешь... Мы переписываемся с одним парнем... Он в армии служит.

– Он отсюда, из поселка?

– Да.

– Переписывайся на здоровье. Я не против. Если он спросит, ты ему так и передай, что я, дескать, не против, что желаю вам счастья и всего такого на долгие годы.

Марина повернулась ко мне, и при свете остатков заката я увидел, что она плачет. Ну вот, только слез нам и не хватало. Не понять мне этого... Один ей письма из армии пишет, второй здесь шагу не дает ступить, а она плачет!

– Понимаешь, Витя... Это будет нечестно... Ну, если я с тобой буду встречаться, а ему на письма отвечать... Он, может, только из-за меня сюда приедет... Как же мне тогда?

– А если я из-за тебя уеду отсюда?

– Из-за меня?!

В ее глазах вспыхнул детский восторг. Она, наверно, первый раз почувствовала, что может как-то влиять на других людей, на их поступки. Кажется, ей понравилось это открытие.



– Ладно, Марина. Пошли.

Кроме берега и общежития здесь, в общем-то, и идти некуда. Да и дорога тоже одна. Ни с кем разойтись, ни от кого улизнуть не удастся, как бы этого ни хотелось. Думаю, поселковые условия оздоравливают нравы. Невозможно таиться, вести двойную игру, лукавить.

Прощались мы в тот день как-то слишком уж быстро. Что-то возникло между нами, что-то появилось...

– Пока, – сказал я. – Будешь писать – обязательно передавай привет. Напиши, что я постоянно помню о нем.

– Спасибо! – обиженно бросила Марина и побежала через двор к своему крыльцу.

А чего, собственно, обижаться? Не понимаю. Тогда не понимал. Дошло до меня, когда уже в гипсе лежал, она ведь хотела, чтобы я убедил ее – не будет ничего плохого, если вообще не отвечать на письма юного ефрейтора. А я-то сдуру начал оскорбленного из себя корчить... Нет, не зря меня из института поперли, не зря. Гнать таких надо в три шеи и близко не подпускать, пока не поумнеют. Очень справедливо поступили со мной.

Едва я открыл дверь, как Юрка, не поднимаясь с кровати, произнес слова, которые в конце концов и втиснули меня в этот панцирь из гипса.

– В шахте завал, – сказал он. – На откаточном штреке.

– Что-то серьезное?

– Да нет, кровля обрушилась, перекрыла движение. Завал расчистили, но в кровле осталась дыра и из нее сыплется всякая гадость вроде валунов. Одного корейца уже трахнуло – все хотел внутрь заглянуть. Хорошо, что хоть в каске был... Главный инженер добровольцев ищет.

– Нашел?

– Какой там! Двое хотели было, а потом, как увидели корейца на носилках, сразу и отступили. Такая история была лет восемь назад. Недельку шахта стояла. Потом нашелся один... Когда купол подпер, забутовать остальное было несложно.

Направляясь в раскомандировку на следующий день, мы знали – шахта еще стоит. Кстати, дорога на шахту очень своевременно напоминает о технике безопасности и дает неплохое представление о том, что делается там, под землей. Речка, которая сейчас далеко внизу, за несколько миллионов лет перепилила сопки, и теперь на срезе невооруженным глазом можно видеть все слои, пласты, пропластки. Смятые, скомканные, перекрученные, разорванные, они на поверхности выглядят довольно красиво, таким наглядным пособием по истории родного края. А под землей... Там хуже. Нельзя оставить ни одного метра незакрепленной кровли, на голову тут же начнут вываливаться булыжники величиной с тумбочку. Наши инженеры отказались даже от мысли ввести в забой какую-нибудь технику. Только с превеликими муками разместят комбайн, только он проработает пару смен – хлоп! – пласт исчез. Нет пласта. Где он? Выше? Ниже? Или в сторону ушел? Ищи-свищи! Для тех, кто кончил горный институт и понимает что к чему, могу сказать, что у нас на одну добычную бригаду работает тринадцать проходческих. То есть тринадцать бригад готовят забой, а одна бригада из этого забоя уголь на-гора дает. Вот так.

А вода!

Не было еще случая, чтобы дождь, который в сопках пройдет, до нас не добрался. Конечно, не сразу, но дней за пять вода просачивается и преспокойно капает – за шиворот. А весенние и осенние паводки! Туманы пойдут – и то вода прибывает! Если еще учесть, что остров находится вовсе не в Средней Азии, что туманы с дождями здесь самая что ни на есть обычная погода, остальное можно себе представить.

Так вот, идем мы с Юркой по этой дороге и видим, что навстречу белым лебедем плывет девушка Марина, а рядом с ней юный ефрейтор Саша. Я уже знал, что его зовут Саша.

– Прогуливаемся?

– Вроде того, – Марина посмотрела на меня вызывающе.

– Тоже нужно. Одобряю.

Саша улыбнулся польщенно, будто не я с ним разговаривал, а управляющий трестом товарищ Прокопенко.

– Пошли, Саша, – сказала Марина и скучаяще осмотрела окрестности. Сопки осмотрела, утыканные пеньками, речушку, плакат с именами знатных людей поселка и, наконец, остановила свой взгляд на лесоскладе. Такими глазами и на лесосклад смотреть! Как все-таки не умеют еще у нас использовать собственное богатство!

– Марина, – сказал я, – тебя можно на одну минутку? – даже палец поднял – показал, что мне нужна только одна минутка.

Молча покачала головой. Нет, мол, для тебя и минуты.

– На два слова, – показал ей два пальца.

Она опять покачала головой, не отрывая взгляда от лесосклада, словно боялась, что если посмотрит на меня, то за это время там обязательно что-нибудь случится.

– Ну, тогда я так скажу...

Она быстро зыркнула на Сашу и прошла вперед.

– Марина, – начал я, – теперь, когда он приехал и тебе не нужно отвечать на его письма... Может быть, тебе и встречаться с ним не стоит? Понимаешь, для меня страшно важно – будет у нас с тобой что-то или нет...

– Пока, – сказала она. – Теперь-то уж точно ничего не будет. Ты извини меня, ладно? Пока.

Потом уже, когда я лежал на белой кровати и смотрел в белый потолок, мне принесли районную газету, где черным по белому было сказано, что мотивом моего самоотверженного поступка явилась забота о плановых показателях родного предприятия. Поскольку дело прошлое, могу признаться, что мотивом или скорее виною была та самая дорожная встреча, когда Марина с бывшим военным Сашей уходила по черной замерзшей дороге. У меня тогда появилось чувство, будто рядом возникает пустота.

Юрка защищал меня от одиночества, начальство обеспечило крышей над головой, деньгами, а особенность географического положения позволяла относиться к себе даже с некоторым почтением. Что касается духовных, вернее, душевных запросов, то с этой стороны я был защищен Мариной. И вдруг надо мной пустота и растущее чувство опасности.

Как бы там ни было, мы с Юркой сказали главному, что выложим костер. Уж больно грустное впечатление производила остановившаяся шахта. Тишина. Слышно было даже, как с кровли вода капает. И ребята сразу стали какие-то молчаливые, будто несчастье с кем случилось. А на поверхности в ожидании угля стоял пустой железнодорожный состав, а в море, недалеко от берега, – японский угольщик... И в поселке тише стало, сдержанней. Говорю же – как беда стряслась.

Натянули мы на себя пропахшие шахтой куртки, штаны, резиновые сапоги, уселись в ржавые, помятые вагонетки и нырнули под землю. А в шахте, между прочим, лесом пахнет. На стойки идут свежие стволы, ошкуренные, аккуратно обрезанные. И пахнут они – будь здоров! Сосной, смолой, хвоей...

Для тех, кто не кончил ни одного курса горного института, могу сказать, что костер – это такое сооружение, когда на два параллельных бревна кладут еще два, поперек, потом опять вдоль, и так далее. А купол – это яма, только не вниз, а вверх. Что получается... Катятся по выработке вагонетки, везут уголь на-гора, а в результате плавают корабли по синим морям, наш остров залит светом и теплом, и бегают по нему бойко и непринужденно железнодорожные составы с пассажирами и грузами. И вдруг оказывается однажды, что вагонетки уже не могут вывозить уголь, потому что лежит на их пути куча породы, в кровле зияет дыра и не видно даже, где она кончается. Вот эта дыра и есть купол.

Сток наготовили нам ребята вволю, оставалось лишь укладывать. Под куполом были только мы с Юркой, а ребята подавали нам бревна, стараясь тут же отскочить под прикрытием. Что интересно – яма над головой дышала, в ней все время слышались какие-то поскрипывания, шорохи, скрежет, иногда мелочь сыпалась, будто кто-то ходил там в темноте, натываясь на камни. Но я даже и представить не пытался, какой купол внутри, – перед глазами стоял разрез сопки, там, на поверхности, со всеми его изломами, поворотами и такими красивыми, разноцветными изгибами слоев.

И почему-то подумалось – а каков ты сам внутри? Ты так же уверен в себе, так же мужествен, каким хочешь казаться? Так же откровенен и честен, как твой взгляд? И доводы, которые ты приводишь, оправдывая свои поступки, они в самом деле важны для тебя?

– Выйдем отдохнем? – спросил Юрка.

– Давай закончим. А то я еще побоюсь снова лезть сюда...

– Тоже верно.

Мы в самом деле устали. Стойки, которые подавали нам ребята, уже выскальзывали из рук. Тогда они стали подавать бревна потоньше. Это, конечно, не так надежно, но что было делать, если толстые мы уже не могли удержать. Тем более что теперь их приходилось поднимать на высоту. Костер вырос, уходя в глубину купола. Мы спешили. Каждую секунду порода могла рухнуть и так вмять нас в этот пахнувший лесом костер, что потом поди разберись, где мы, а где стойки.

И вот уже наши головы упираются в верх купола. Значит, продержаться нужно еще несколько минут, не больше. Лампочки, которыми нам светили снизу, уже не добивали сюда, в этот провал, и работать приходилось почти на ощупь. Наконец мы просунули под кровлю последнее бревно. Юрка прямо прыгнул вниз, упал и тут же откатился в сторону. Я тоже хотел было прыгнуть, но пальцы соскользнули с ошкуренной стойки, и я невольно ухватился за выступ на краю купола. Вот этот выступ и обрушился, едва только моя рука коснулась его.

В себя пришел, когда меня уже несли по выработкам на поверхность. И вдруг увидел звезды. В шахте, в низком вентиляционном штреке, где и разогнуться-то нельзя – яркие голубые звезды. Правда, не по всему небу, а на одном участке. Потом оказалось, что это и в самом деле были звезды. Ребята как раз подходили к выходу на склон сопки, а я смотрел вдоль выработки, к тому времени уже наступила ночь...

С тех пор эти звезды возникают перед глазами каждый раз, когда у меня поднимается температура. В бреду я вижу их где-то сбоку, как лампочки вдоль коридора. А над головой – та самая яма. Я задыхаюсь в ней, вот-вот на меня рухнет какая-то тяжесть, откуда-то из темноты появляются тяжелые бревна, я беру их, но они выскальзывают, и мне никак не удается подпереть тяжесть, готовую обвалиться сверху.

Выписали меня через месяц.

И вот иду к себе в общежитие, этак небрежно опираюсь на палку, смотрю, как падает снег, и вдруг нос к носу сталкиваюсь с молодыми супругами Мариной и Сашей – заснеженными, румяными, счастливыми. Они так растерялись, будто я к ним в спальню пришел.

– Привет, ребята. Слышал, у вас свадьба была?

– Была, – ответил Саша. – А я в вашей бригаде работаю...

– Поздравляю, – я ткнул его свободной рукой в живот и подмигнул Марине. По-моему, очень непосредственно подмигнул, легко так, игриво, но честно говоря – из последних сил. – Ну, счастливо, ребята. – И пошел дальше, чувствуя, как над головой зияет небо, эта громадная безопасная яма.

Через несколько минут я остановился на берегу, оглянулся. Шел крупный густой снег. Марина с Сашей как бы медленно растворялись в нем. Их уже почти не было видно. Потом они и вовсе исчезли. Страшно белый снег. Зимой он уже не будет таким, но сейчас, когда дорога черна от угля, и сопки черны от обгорелых пней, и заборы, дома тоже черные, выгоревшие,

снег казался особенно белым. Интересно было смотреть, как он падал в море: снежинки, едва коснувшись черной воды, тут же исчезали. И вся масса снега, опускаясь до верхушек волн, вдруг пропадала.

Недалеко от берега стоял японский угольщик. Если бы я не знал, где он пришвартовался, то и не нашел бы его в снегопаде. Потом из-за сопки показался маленький черный катер. Он тащил японцу плашкоут с углем. Черная гора угля на нем серела, становилась белесой и постепенно теряла очертания. Наверно, и я, пока сидел на влажной коряге, выброшенной волнами, тоже покрывался снегом и растворялся на этом берегу среди сопки, поселка. Не исключено, что и среди здешних людей мне тоже предстоит раствориться. И было приятно думать об этом. Что-то заживало во мне, успокаивалось, и приходило такое чувство, что все правильно, все так и должно быть.

Не задерживаясь больше на берегу, я поднялся на свои еще не окрепшие конечности и пошел в общежитие, к ребятам. То-то будет шуму – они не знали, что меня уже выписали.

## ДОЛГОЖДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Потом уже, через две-три недели, когда стали известны подробности, я хорошо представил себе, как все произошло. Примерно в два часа ночи Сашка остался один. Вечеринка кончилась, друзья разошлись, и тут неожиданно оказалось, что ему идти некуда. Он жил в районе аэропорта, автобусы уже не ходили, на такси не было денег, да и попробуй поймай такси в такое время. Пустынные улицы, подмерзшие звонкие лужи, и почти вся ночь впереди.

А надо сказать, что ночь здесь не назовешь уютной. Едва только стемнеет, с сопок словно бы опускается, сползает тайга, улицы наполняются запахами прелых листьев, сырости, хвои. А позже, когда погаснут окна, с улиц исчезнут люди и машины, все это – тайга, туман, какая-то дикая тишина – набирает силу и безраздельно властвует до утра. Вокруг дома, но городом, как говорится, и не пахнет. Если в это время оказываешься один, тебя охватывает беспокойство, что-то заставляет быть настороже, идти быстрее и бесшумнее.

И в ту ночь с сопок наплывало и охватывало улицы состояние прошлого, тех давних времен, когда медведи безбоязненно заходили в долину, а беглые каторжники дичали и мерзли в окрестных лесах. Наверное, от каторжников и дохнуло на Сашку чем-то крамольным, запретным, и охватили его противоправные желания.

Нет-нет, я не оправдываю ночных грабителей, просто это Сашкино предположение. Когда он все это излагал, ему было далеко не до шуток – мы сидели в коридоре суда, и нас вот-вот должны были пригласить в зал. Его – в качестве обвиняемого, а меня – как потерпевшего.

Так вот, похрустывая весенними ночными лужицами, Сашка направился прямехонько к гостинице. Он долго стучал в закрытую дверь, пока не проснулась дежурная, спавшая на раскладушке.

– Фамилия? – спросила она, приподняв голову.

– Сидоров, – ответил Сашка первое, что пришло на ум.

– Свести у вас нет, Сидоров, – покряхтела дежурная. Она долго поднималась, терла пухлое лицо ладонями, постанывала – уж очень, видно, сон был сладок. – Эх, гражданин... Свести, говорю, нет!

Она первая назвала его гражданином, еще не зная, что скоро такое обращение к нему станет привычным.

– Спасибо, мамаша, – поблагодарил Сашка. – Спите спокойно. – И он быстро прошел мимо конторки администратора, мимо теплой еще раскладушки дежурной, мимо газетного киоска. Поднявшись на второй этаж, Сашка тронул одну дверь, вторую, третью. Четвертая оказалась незапертой. Поколебавшись, он протиснулся в номер. Из комнаты доносилось благоуханное посапывание. Сашка шагнул вперед, на залитое лунным светом пространство. Постоял. Никто не проснулся. Ни я, ни мой сосед Толик. Не раздеваясь, Сашка осторожно прилег на свободную кровать. Луна светила ему прямо в лицо. На улице от этого света хотелось побыстрее скрыться, а здесь, в номере, он лишь приятно тревожил.

Прошло около часа. В номере слышалось все то же умиротворенное дыхание. Тогда Сашка поднялся, выбросил в форточку первое попавшееся пальто, сунул за пазуху шапку с вешалки и вышел. В коридоре суда, когда ему незачем было скрывать что-либо, он не смог объяснить, зачем взял пальто и шапку. Во всяком случае, в наших карманах он мог бы найти кое-что поинтереснее. «Уж очень беззаботно вы спали...» – сказал он. Но это было потом, через месяц. А в ту ночь, спустившись в вестибюль, он снова разбудил дежурную.

– Мне нужно на вокзал. Скоро отходит мой поезд.

– А поднимались зачем? – подозрительно спросила дежурная.

– Документы нужно было взять.

– Вас выписать?

– Нет, я к вечеру вернусь. – Сашка сообразил, что, если бы ответил иначе, ему пришлось бы отвечать еще на кучу вопросов. Он помог дежурной запереть дверь, прижав ее снаружи, махнул рукой и свернул за угол, чтобы подобрать пальто.

Он рассказывал потом, что не нужны ему были ни пальто, ни шапка. Сашка работал механиком в аэропорту и почти круглый год ходил в роскошной кожаной куртке, о которой мечтали все, у кого ее не было, – охотники, рыбаки, туристы, да и я в том числе.

– Понимаешь, – говорил он, – как выпью, будто блажь находит – нужно что-то стащить. И не по делу, а так... Шалость, вишь ли, у меня, озорство. Не поверишь, просыпаюсь однажды, а у моей кровати лежит резиновый коврик... Ну, об который ноги вытирают. Одни, когда выпьют, пляшут, песни поют, другие плачут и рыдают, третьи не прочь по физиономии кому-нибудь съездить... А я вот коврик принес в общежитие. На кой он мне?

У Сашки было смуглое худое лицо, черные прямые волосы и немного обиженный взгляд, какой бывает у человека, который говорит чистую правду, а ему не верят. Рассказывая в коридоре суда о своих похождениях, он смущенно улыбался и мямлял, мямлял в руках опустевшую сигарету.

Как бы там ни было, но утром я оказался без пальто. Это было тем более печально, что за окном валил густой весенний снег, он шел весь день, потом всю ночь, и было в его неслышном падении нечто возвышенное. А проснулся я оттого, что кто-то большой, розовый и пытящий ходил по комнате и бормотал не то недовольно, не то озадаченно. Это был Толик, сосед по номеру.

– Ты брал мою шапку? – спросил он, едва я открыл глаза.

– Она мне мала.

– Это ничего не значит. Мне, например, мало твое пальто, но его я тоже не вижу. А на улице идет снег. А завтра будет буран.

– По радио передавали?

– Передадут, – хмуро заверил Толик.

Он, видимо, был уверен, что беда не приходит одна и что, начнись сегодня оттепель, кража вообще потеряла бы всякий смысл. А чтобы мы могли ее оценить по достоинству, неизбежно должны посыпаться тайфуны, бураны, циклоны, ураганы.

Я прошлепал в прихожую, убедился, что пальто действительно исчезло, и вернулся в комнату. Округлой массой у окна светился Толик. Одна его рука была на бедре, второй он обхватил подбородок – думал.

– А между тем, – медленно проговорил он, – может статься, что все к лучшему.

– Не понял.

– Ты знаешь, какого черта я здесь сижу? Жду преступления.

– Опять не понял.

– Адвокат я, дошло? Ад-во-кат. Но без практики. Мне нужно дело, на котором они могли бы испытать меня и принять в свою теплую компанию. Адвокаты. Сечешь? То, что я окончил институт, прибыл сюда по их же вызову, еще ничего не значит. Они хотят посмотреть на меня в деле.

– Ишь ты! – Это единственное, что я смог произнести.

– Каждое утро я узнаю, где что случилось, где какая драка произошла, кто у кого что украл, кто за что кому морду набил, почему муж с женой поругался, за что директора магазина... И так далее.

– По-моему, ты производишь очень благожелательное впечатление, – уважительно сказал я, глядя на него с подушки. – И достаточно внушительное. Я бы тебе доверился.

– Ты хочешь сказать, что я достаточно толст? – Толик обиженно заморгал светлыми ресничками и выпятил сочную нижнюю губу. – Вот смотри. – Он повернулся ко мне спиной. Под левой лопаткой зиял круглый шрам.

– Кто это тебя?

– Дружинником был. Так что у меня со шпаной свои счеты.

– Но ты же адвокат, будешь их защищать. Или как?

– У тебя вульгарные представления о работе адвоката, – ответил Толик, но пояснять свою мысль не стал.

– Ножом пырнули? – спросил я.

– Нет, самодельный пистолет. Понимаешь, я вынужден быть толстым. После того как мне эту дырку под сердцем сделали, в легких какие-то процессы начались. Поэтому я жив, пока толст.

– Какого же ты преступления ждешь?

– Среднего. Одно им кажется слишком простым, другое – слишком сложным для начала... Вот если бы этого типа поймали, он бы оказался в самый раз. А что касается моей работы, скажу тебе, скажу... Нечего лыбиться... Защищая одного, я произношу обвинительную речь против десятка других, которых нет на скамье подсудимых, которые сидят в зале. Но часто именно они толкают человека на преступление, вынуждают. Дурным обращением, дурным воспитанием, дурным примером. И не так важно посадить одного, как образумить десяток других, понял?

И тут Толик, не сходя с места, показал, что он действительно имеет самое непосредственное отношение к правосудию. Мягкой розовой глыбой согнувшись у телефона, он позвонил в милицию и профессионально четкими выражениями сообщил о ночном происшествии. Натянув пижаму, вызвал дежурную и поручил ей опросить жильцов в соседних номерах – не пропало ли чего у них. Потом снова позвонил в милицию и поинтересовался, выехала ли оперативная группа.

А тем временем дежурная, большая рыхлая старуха, причитая и постанывая, рассказывала взбудораженным жильцам о ночном госте, о том, какой у него злоедающий голос, громадный рост, как он сразу показался ей подозрительным, рассказала даже, какая неприятная улыбка у злодея. Кстати, когда ей показали Сашку для опознания, она его не узнала. Допросы, очные ставки, протоколы сделали вора в ее глазах рослым детиной с бандитской рожей.

В тот же день нас с Толиком пригласили в милицию, и инспектор уголовного розыска, пожилая худенькая женщина, принялась задавать нам скучные вопросы о цвете пропавших вещей, степени их износа, первоначальной цене, отличительных признаках...

Время от времени разговор прерывался, и мы все трое, я, Толик и женщина, смотрели в окно. Большие снежинки медленно скользили мимо берез с толстыми стволами и тоненькими веточками, мимо рябин, сохранивших до весны красные гроздья, мимо взъерошенных черных лиственниц. Деревянные дома, деревья, заборы постепенно обрастали снежными хлопьями, их контуры становились мягкими, светлыми. И женщина, подперев кулачком щеку, забыв о степени износа вещей, неотрывно смотрела на невесомые столбики снега, вырастающие над гроздьями рябиновых ягод. Потом спохватывалась, часто моргала, будто старалась стереть с глаз картины, не относящиеся к данному уголовному делу.

– Так... Значит, вы утверждаете, что ночью ничего не слышали? – спрашивала она виновато.

– Не слышали, – отвечал Толик. – Мне кажется, вам следует предупредить комиссионные магазины, отправить своего товарища на рынок. Вполне возможно, что вор вынесет вещи, чтобы продать.

– Возможно, – соглашалась женщина.

– И еще необходимо навестись на вокзал, на автостанцию, в аэропорт. Ведь дежурная дала описание преступника.

– Разумеется, – говорила женщина и косилась на окно. Форточка была открыта, и залетающие в комнату снежинки таяли на лету, превращаясь в маленькие холодные капельки. Самые

крупные снежинки, не успев растаять, падали на лицо женщины, а она невольно, сама того не замечая, поворачивала голову, чтобы поймать лицом еще одну снежинку, еще одну...

– Сомневаюсь, чтобы они нашли этого вора, – сказал Толик, когда мы вышли на улицу. – Очень неустойчивая женщина. Тут нужна железная психика. Мертвая хватка.

Было чуть ниже нуля, и снег под ногами не хрустел, а мягко, чуть заметно пружинил. Такой снег обычно не держится долго. И в самом деле асфальт был сухой и пыльный, когда через неделю Толик, задыхаясь от бега, ворвался в номер. Его лицо было как никогда розовым, а от спины валил пар.

– Слушай, – сказал он хрипло, – там, в магазине... один тип... вроде в твоём пальто... Пошли!

Мы быстро спустились вниз, перебежали через дорогу и, стараясь не обращать на себя внимания, будто бы не торопясь, вошли в магазин. Парень, о котором говорил Толик, уже отстоял очередь у кассы и теперь с чеком шел к колбасному отделу. Среднего роста, худощавый, смуглый, он задумчиво смотрел на продавца, а та под его взглядом никак не могла уравнять стрелку весов. Пальто на нем было мое. Возле кармана темнела маленькая дырочка – как-то в автобусе я зацепился за отогнутый уголок жести.

– Извините, – сказал я, – но это мое пальто.

На его лице промелькнуло выражение, которое можно было бы истолковать словами: «Ну вот, я так и знал!»

– Вы уверены? – спросил он. – Чье же тогда пальто на вас?

– А вот этого товарища, – показал я на Толика. То, что на мне пальто с чужого плеча, и так было видно – плечи болтались где-то возле моих локтей.

– Так что вы хотите?

– Как что?! Не могу же я все время ходить в этом балахоне!

– А! – протянул он. – Пожалуйста. – И начал расстегивать пуговицы. – Я не думал, что для вас это так важно.

И тут Толик проявил юридическую грамотность.

– Нет-нет, – запротестовал он. – Так не пойдет. Давайте-ка прямо в пальто отправимся в одно место.

– Куда же именно?

– В милицию. Здесь недалеко.

– Зачем?

– Там разберемся. Там мы во всем разберемся – чье пальто, почему пальто, зачем пальто и так далее.

– А разве мы в чем-то не разобрались? – повернулся парень ко мне.

Возможно, это было негражданственно, но мне не хотелось идти в милицию и снова проводить целый день за составлением протоколов, за показаниями, опознаниями. Но Толик настоял на своем. Цепко ухватив вора за локоть, он так и не выпустил его, пока мы снова не оказались в кабинете знакомой женщины.

Сашка вел себя, по словам Толика, глупо. Он тут же во всем сознался, хотя гостиничная дежурная ни за что не хотела признать в нем ночного грабителя. «Не признаю», – твердила она даже после того, как Сашка напомнил ей детали своих походов.

– И старуха тоже глупо ведет себя, – сказал Толик.

– Почему? Может, она в самом деле не помнит его?

– Не имеет значения, помнит или нет. Этот тип возьмет и скажет, что пальто купил на базаре в прошлое воскресенье. И все. Его придется отпустить. А весь убыток, и твой, и мой, оплатит старуха. Из своих трудовых доходов, между прочим.

– Что же ей делать?

– Не знаешь – молчи. Не помнишь – не настаивай. На нет и суда нет.



Вышло так, что Сашка совершил то самое преступление, которого ждал Толик. По юридическим канонам он не имел права защищать его, поскольку сам оказался потерпевшим, но, чтобы ускорить дело, я сказал, что пропавшие вещи принадлежат мне. И пальто, и шапка.

Прошло несколько дней, и как-то вечером, когда в город, как обычно, с сопок хлынула тайга, я, остановившись на перекрестке перед красным светом, вдруг увидел, что рядом со мной стоит Сашка в кожаной куртке и берете. Он тоже узнал меня, усмехнулся.

– Привет, – сказал я.

– Привет.

– Что нового?

– Ты хочешь спросить, что я спер нового и у кого?

– Да нет... Просто так. Тебя оправдали?

– Как меня могли оправдать, если суда еще не было? Отпустили под расписку.

Дальше мы пошли рядом.

– Слушай, Саша, ну, понимаю, можно было пальто спереть, но на кой ты его надевал?

– А! – Он махнул рукой. – Решил посмотреть, что получится. Везучий я или нет... Оказалось – не очень. Этот дружок твой, адвокат, не говорил, сколько мне дадут?

– Не больше трех. Но и это вряд ли... Года два-полтора...

– Это уже лучше, – вздохнул Сашка.

– Он сказал, что по-разному может сложиться... Как общественный обвинитель себя поведет, ну, который от твоей организации.

– О! На это надеяться не стоит. Раз проворовался, то какой разговор... припомнят и опоздания на работу, и... Опять же не женился... Да, был у меня и такой прискорбный случай. Должен был я жениться на нашем диспетчере. Хорошая девушка, и все, что нужно, у нее на месте, но совершила грубую ошибку – познакомилась со своей подругой. И как раз накануне свадьбы, когда все технические службы аэропорта готовились к торжеству. А я того... ушел в сторону. Аморалка налицо.

– Что же случилось с невестой?

– Озверела девка. Никогда не думал, что в каких-нибудь пятидесяти килограммах может быть столько злости. Пошла по начальникам, написала моей бабке в Ростов, раздобыла медицинскую справку...

– У нее что... ребенок?

– Какой ребенок! Честь у нее порушена! И что самое обидное – я ни при чем! То-то она меня к себе не подпускала...

– А эта, ее подружка?

– Хорошая девчонка, на суде увидишь. Сколько на нее, бедную, свалилось! Но держится. Держится, представляешь? – Сашка посмотрел на меня с недоумением. – Знаешь, суд завтра, а я уже считаю, что мне не двадцать пять лет, а все двадцать семь, будто два года, которые дадут, уже прошли... Сегодня даже снился себе двадцатисемилетним... Потеха! Дома новые в городе, куртка вот эта уже дырявая, рукава протерлись, вроде ребеночек уже у нас с этой девчонкой... Только не помню – парень или девка... Да! Говорит, ждать будет. Представляешь?

Улицы опустели, и мы шли по самой середине проезжей части. Наши скрещенные тени то убегали вперед, то отставали, путались под ногами. Пахло теплой землей, откуда-то с окраины доносились крики паровозов. Потом над домами, так низко, что хотелось пригнуть голову, прошел самолет, мигая красными сигнальными огнями.

– Восемнадцатый рейс, – сказал Сашка, проводив его взглядом. – С материка. Ну ладно, мне пора!

– Слушай, – неожиданно для себя сказал я, – пошли в гостиницу, а? Пошли!

– Думаешь, пустят?

– Сегодня другая дежурная, она тебя не знает.

– А адвокат там?

– Наверное, где же ему быть. Завтра выступать.

– Это уже интересно. – Сашка оживился, но тут же опять сник – будто от тяжелой мысли, о которой забыл на мгновение. – Ну, пошли, – сказал он равнодушно.

По узкой лестнице мы поднялись на второй этаж, остановились у нашей двери.

– Все правильно, – сказал Сашка. – Та самая дверь. Теперь уже закрывается на ночь?

– И на день тоже. – Я толкнул дверь, она была заперта. Из глубины номера доносился голос Толика. Он говорил громко и старательно, будто втолковывал что-то непонятливому собеседнику. Некоторое время мы прислушивались, но, когда разобрали слова «граждане судьи», оба чуть не рассмеялись.

– Видишь, – сказал Сашка, – я опережаю время на два года, он – на один день... Что-то мы все торопимся, торопимся, вот только куда?

Я постучал. Голос в номере смолк, слышались шелест бумаги, шлепанье больших ступней по пластиковому полу прихожей. Щелкнул замок, дверь распахнулась. Толик был в пиджаке и при галстуке, но босиком. Увидев Сашку, он побледнел, отступил в глубину коридора, пропустил нас и закрыл дверь.

Сашка сел на ручку кресла, с любопытством огляделся, улыбаясь.

– Кажется, я здесь был когда-то...

– Наверняка был, – ответил Толик. – Мне нужно сказать тебе пару слов, – повернулся он ко мне. – Выйдем на минутку. Ты что, с ума сошел?! – прошептал он, едва мы оказались в коридоре. – Хочешь меня под монастырь подвести?!

– А в чем дело, чего ты испугался?

– Адвокатам запрещено встречаться с подзащитным в такой обстановке. Это уже частное расследование. Вы бы еще бутылку принесли! Слушай, у тебя страшно неустойчивая психика. Сегодня ты привел вора, завтра убийцу заманишь...

Сашка ушел.

Он молча улыбнулся у двери, махнул прощально рукой и вышел. В окно я видел, как он поднял воротник куртки, сунул руки в карманы и зашагал к вокзалу. Фонарь был впереди, за углом, и мне из окна казалось, что Сашка с трудом, согнувшись от напряжения, тащит за собой тяжелую длинную тень. Она волочилась за ним, хватаясь за выступы дороги, за столбы, за деревья, посаженные вдоль тротуара. И даже когда Сашка скрылся за углом, я еще некоторое время видел его тень, судорожно цепляющуюся за город.

– От твоего Сашки можно ожидать чего угодно, – сказал Толик таким тоном, будто ставил диагноз. – У него неустойчивая психика. Ему еще повезло, что он попал за решетку по этому делу. Мог подзалететь куда серьезнее. Пусть радуется. Полтора года – не так уж много. Я с дыркой возле сердца провалялся почти столько же.

– Девчонка обещает ждать его, – сказал я.

– Меня тоже ждала, – тихо, будто про себя проговорил Толик. – Не дождалась только. Толст я стал, понимаешь? Слишком толст для нее.

– Думаешь, ему грозит то же самое?

– Нет, там ему вряд ли удастся растолстеть, не те условия. А вот слишком тощим для своей девочки он запросто может стать.

– Ничего, поправится. – Мне почему-то хотелось, чтобы у Сашки все получилось хорошо.

– Я говорю не о весе, – грустно пояснил Толик. – Подумаешь, вес. Я оказался слишком солидным, а Сашка наверняка окажется слишком никчемным.

– Жизнь покажет.

– В этой истории она уже не покажет ничего нового. Все стало на свои места, и надолго. А какая была девушка, – вздохнул Толик, – какая девушка...

– А что с ней сейчас?

- Вышла замуж за зубного врача... На кой ей врач – не пойму. У нее прекрасные зубы.
- Если подходить с этой точки зрения, то ей, наверное, и адвокат ни к чему.
- Ты прав, – наконец согласился со мной Толик.

## КИЕВСКИЙ ТОРТ

Как-то вечером, когда прием уже закончился и Вера Петровна спешно заносила в карточки бесконечные сведения, которые положено вписывать во время приема, в кабинетик вошел хирург Николай Николаевич. Он неслышно сел на кушетку, застланную белой простыней, откинулся спиной на крашеную стену и стал смотреть на Веру Петровну внимательно и почти влюбленно, как это могут себе позволить пожилые люди, понимающие, что их не заподозрят в срамных помыслах.

– Простите меня, Верочка, за нескромный вопрос... Сколько вам лет?

– Ох, Николай Николаевич! – непритворно вздохнула Вера Петровна, не отрываясь от карточек. – Все мои, все мои... Двадцать семь! – И она, быстро обернувшись, исподлобья посмотрела на хирурга широко раскрытыми глазами, словно сама удивилась этой страшной цифре. И добавила: – Будет.

– Замуж вам надо, Вера. Чтобы семья, муж, дети... чтобы не оставались вы тут со мной, стариком, да с уборщицей, которая вот-вот погонит нас отсюда своей поганой метлой.

– Не берут, – неловко усмехнулась Вера Петровна. – Чем-то я им не нравлюсь, что-то их пугает, никак не удается мне их пронять.

– Дураки потому что. Истинно дураки. – Николай Николаевич помолчал. – Хотите, я познакомлю вас с прекрасным молодым человеком – умным, образованным, обеспеченным? Хотите? – Морщинистое красноватое лицо хирурга приняло заговорщицкое выражение.

– Конечно, нет!

– Почему, Верочка?!

– Потому что таких не бывает. – Она рассмеялась.

– Есть такой! – Николай Николаевич подошел к столу, чтобы видеть лицо Веры Петровны. – Он живет со своей мамашей, моей давней знакомой, в городе Киеве. У него потрясающая квартира, замечательная должность в Министерстве сельского хозяйства, и он давно мечтает познакомиться с красивой, обаятельной...

– Стоп! – Вера Петровна подняла ладошку. – Киев славится красавицами, что ему мешает там?

– То же, что и вам здесь мешает, в таежных глубинах нашего острова. Ведь это все расхожие слова – большой город, много красавиц... а на деле все проще... Соседи, сослуживцы, свой автобусный или трамвайный маршрут. Прохожих там много, но их и здесь хватает. На прохожих не женятся, за прохожих замуж не выходят. С людьми все происходит, когда они перестают быть прохожими друг для друга. Значит, договорились. Я отсылаю ему ваш адрес и анкетные данные. В меру сил опишу внешность, хотя заранее знаю, что мне это не под силу.

– Ни в коем случае! – испугалась Вера Петровна. – Не вздумайте!

– Послушайте меня. – Николай Николаевич снова сел на кушетку. – Я pošлю ваш адрес. Он напишет письмо. Не понравится – не отвечайте. Можете порвать его, не вскрывая. Вы знаете, как переводится на русский язык слово «Поронайск»? Гнилое место. Мне так не хочется, чтобы название нашего городка отразилось на вашей судьбе...

В маленькое перекошенное окно Вера Петровна видела заснеженный карниз, освещенный настольной лампой, черноту ночи, фонарь в конце улицы, мелькнувшие вдалеке фары машины. Где-то залаяла собака, тут же откликнулась еще одна... Николай Николаевич, ожидая ответа, залюбовался ею – строгий взгляд темных глаз, такой, наверное, и должен быть у врача, короткая стрижка, белый халат, перетянутый пояском. И видел, видел старый плут Николай Николаевич в ее глазах ту женскую дерзость, за которой безошибочно можно угадать жажду любви, готовность к поступкам рисковым, бесшабашным.

– Знаете, – она как-то беспомощно посмотрела на Николая Николаевича, – что-то в этом есть несимпатичное. Вроде заочной солдатской переписки.

– Очень глупые слова, – мягко сказал Николай Николаевич. – Кто к нам сюда ходит? Старики и старухи. В основном старухи. Что у них болит? Живот, поясница, ноги отнимаются, память, на вены жалуются, на мочу, черт знает на что! Вы поработаете здесь еще два года и решите, что на острове вообще нет здоровых людей, нет молодых и веселых. И самое печальное будет то, что в конце концов окажетесь правы. Молодые и веселые посещают другие заведения. Послушайте меня, Верочка... Нет, вы послушайте... Что происходит – все заняты, ни у кого нет времени, все куда-то несутся, чего-то добиваются и наконец успокаиваются. И спросите у любого в последний его час – был ли он счастлив? Скажет – да, был. Не потому, что в самом деле познал счастье на этой земле, а потому, что так принято отвечать, потому, что стыдно нам признаться, что уходим, так и не вкусив этого непонятного, недоступного плода. И, умирая, мы говорим – да! И называем стройку, наш остров называем, медаль, которую вручили по какому-то случаю, аплодисменты, как-то раздавшиеся в нашу честь, грамоту от какого-то начальника вспомним, будильник, подаренный по случаю выхода на пенсию. И так мало людей, которые решатся в последний час назвать женщину, любовь, упоительное сумасшествие на этой почве... Может, я все путаю, и люди давно уже не сходят с ума от любви, может, они трогаются умом исключительно от белой горячки? Не знаю... Мы одержали такую внушительную победу над человеческой природой, что, даже умирая, человек не может забыть, как ему случилось быть победителем соревнования, а какой-то заезжий руководитель пожал ему руку и заверил, бессовестно глядя в глаза, что он им гордится...

– Все! – оборвала хирурга Вера Петровна. – Уговорили.

Письмо из Киева пришло через месяц.

Снег подтаял, отяжелел, смерзся, и дорога от поликлиники к общежитию сделалась ледяной, сверкала под луной острыми изломами, в ней отражались фонари и окна домов. Заглянув в почтовый ящик, Вера Петровна вместе с привычной серой пачкой газет увидела белый конверт с незнакомым почерком. Сердце ее тревожно дрогнуло, ключ не сразу попал в прорезь железного ящика, письмо Вера Петровна поспешно сунула в сумку, будто в самом этом конверте с красно-синими ромбиками авиапочты было что-то непристойное. В комнатке общежития она положила письмо на стол и занялась печкой. И, строгой лучины, разжигая их, подбрасывая в огонь полешки, она с опаской поглядывала на конверт.

Наконец, когда дрова разгорелись, начали постреливать и метать по стенам огненные блики, решила, открыла. Быстро пробежала строчки. Не найдя ничего чрезвычайного, прочла внимательнее. Роман, его звали Романом. «Очень хорошо, – подумала Вера Петровна, – не самый худший случай». В общем же письмо оказалось суховатым. Роман сообщал, что старший друг их семьи, Николай Николаевич, в большом восторге от Веры Петровны, просил написать ей несколько слов, что он и делает с большим удовольствием и передает привет Николаю Николаевичу.

– Обязательно передам, – вслух сказала Вера Петровна.

За последующую неделю она прочла письмо раз десять, каждый раз находя в нем что-то новое. Впрочем, она сознавала, что больше додумывает, нежели действительно видит что-то в этих строчках, написанных мелким четким почерком. В коротенькой записке она поблагодарила Романа за внимание, написала, что его письмо очень понравилось, что на острове к письмам вообще отношение трепетное и каждое становится маленьким праздником.

Ответ пришел неожиданно быстро. Едва вынув письмо из ящика, Вера Петровна сразу ощутила его плотность. «Фото прислал», – решила, и не ошиблась. Через час, расположившись на низенькой табуретке у печи, она распечатала конверт и вынула из него коричневый снимок. Молодой мужчина, с гладко зачесанными назад волосами, с почти незаметными залысинами и маленьким ртом, смотрел на нее пристально, даже с какой-то требовательностью, словно ждал

от нее обещанного. В письме говорилось, что он был счастлив получить весточку, что он в восторге от ее юмора, ума, почерка и даже сахалинский пейзаж на конверте ему показался чудесным.

«Ну, это уж ты, братец, подзагнул, – сказала про себя Вера Петровна, но в душе осталось приятное чувство. – Цену своему юмору я знаю, так что давай не будем». Но Роман ее несколько разочаровал. «Мордатый какой-то, – подумала она, – похоже, щеки со спины видать».

Вера Петровна поставила снимок на полку, где уже лежала обкатанная волнами коряга, кусок оленьего рога и ракушка морского гребешка. Теперь к этой компании прибавился портрет Романа. Каждый день по несколько раз сталкиваясь с его маленькими настороженными глазами, она постепенно начала различать в них скрытую улыбку, доброжелательность, а как-то после работы у нее даже вырвалось:

– Ну, как поживаешь тут без меня, щекастенький?

И послала свою фотографию.

Послала с тайной надеждой потрясти Романа. На снимке она нравилась себе. Один из больных, бывший фотокорреспондент местной газеты, сфотографировал ее прямо в кабинете – в белом халате, со стетоскопом на груди, на столе телефон, стопка карточек. В ее лице была загадочность, может быть, даже значительность, происходящая от богатства духовного мира, – так Вера Петровна не без улыбки определила выражение своего лица. А письмо приложила нарочито короткое, простоватое, сознательно основной удар доверив большому, с хорошим глянцем снимку. Он обладал еще тем преимуществом, что был любительским, – дескать, не специально в фотоателье бегала, не красилась, не завивалась для такого случая, получилась какая есть.

Она не ошиблась, ответное письмо Романа показалось ей даже растерянным. Удар состоялся. Возможно, раньше он писал ей как старой деве, забытой богом и людьми, в чем-то ущербной, несчастной, и только сейчас понял, что судьба подбрасывает ему подарок. Не успела Вера Петровна ответить, как пришло второе письмо. Несколько листов были исписаны мелким плотным почерком. Роман рассказывал о своей работе, о том, какие важные дела ему приходится утрясать, целую страницу посвятил какому-то потрясающему фильму про любовь, намекнул про заработок, квартиру.

Вера Петровна призадумалась, подняла глаза на снимок. Он пересох, согнулся, его верхний и нижний края почти соприкасались, но из глубины все так же пронзительно и требовательно светились глазки Романа. Теперь в них виделась чуть ли не подозрительность. А когда она как-то вечером собралась к медсестре на день рождения, во взгляде Романа вспыхнула откровенная ревность. Не нравились ему вечерние ее отлучки, ох не нравились.

– Ну что, мордастенький? – спросила Вера Петровна. – Как дальше жить будем?

Роман прислал еще несколько писем, три отправила она. И почувствовала исчерпанность. Его письма не приносили ничего нового, да и в своих она ощущала пустоту. Ловила себя на том, что пишет вроде как по обязанности. Роман, видимо, тоже испытывал нечто похожее и прислал еще один свой портрет, цветной. Он оказался розовощеким, с неприлично алыми губками, с каким-то химическим цветом глаз, но это у него в зрачках отразилась электронная вспышка. Вера Петровна поблагодарила, но еще один свой портрет посылать не стала. Это было бы повторением пройденного.

Наступила весна. Роман писал, как на Крещатике цветут каштаны, но это она знала и без него – телевидение оповещало об этом всю страну с такой поспешностью, словно цветы эти были предвестником счастливых перемен. Написал Роман и о том, что собирается летом в отпуск на Черное море. Но с собой не звал. То ли было ему с кем отдохнуть, то ли полагал, что остров настолько далек, что люди оттуда вовсе и не приезжают на Черное море, обходясь Анивским заливом и Поронайскими пляжами.

Вера Петровна набиваться не стала, поступила проще. У нее за последние три месяца накопилось семь отгулов, не без помощи Николая Николаевича она взяла их все сразу. Присоединив два воскресенья и одну субботу, она получила десять дней отпуска. И, послав впереди себя телеграмму, вылетела в Москву, а оттуда поездом в тот же вечер – в Киев.

Она старалась не думать о своем решении, понимая, что, если взглянуть на него пристальнее, в нем обязательно обнаружится что-то недостойное. В самом деле, ее никто не звал, никто не давал ей права обычные письма истолковывать как нечто существенное. Но она оправдывала себя тем, что ее приезд, как и письма, никого ни к чему не обязывает. Да, у нее деловая поездка в Москву, и она на два-три дня заскочила в Киев, уж коли оказалась так близко от этого города. Вот и все.

Романа узнала сразу. Увидев его на перроне из окна вагона, Вера Петровна некоторое время наблюдала за ним. Он в самом деле оказался полноватым, невысокого роста, с толстым портфелем и маленьким букетом цветов. Роман нетерпеливо поглядывал на часы, из чего Вера Петровна заключила, что он торопится и ее приезд нехоти. Она окинула себя взглядом в зеркале купе – розовый плащ, сиреневый свитер с высоким воротником, небольшой чемодан на «молнии», сумка на длинном ремне. Ничего, сойдет.

– Здравствуйте, Роман, – сказала она, подходя. Он продолжал озабоченно смотреть в темный провал тамбура. Ей показалось, что в его взгляде промелькнуло даже раздражение.

– О! Здравствуйте! Как здорово, что вы приехали! Разрешите чемодан... Да, это вам. – Он протянул цветы, и Вера Петровна не могла не подумать, что о южных цветах у нее было мнение куда более восторженное.

Роман быстро шагнул через вокзальную площадь. Вера Петровна еле поспевала за ним, натыкалась на людей, сумка ее цеплялась за чьи-то чемоданы, узлы, кошелки. После двух суток дороги она устала, давал себя знать перепад времени в семь часов, однако Роман вел себя так, будто она приехала из пригорода.

Они протиснулись в троллейбус. Вера Петровна позволила себе лишь стрельнуть глазами в сторону остановки такси, но Роман тут же объяснил, что ехать совсем недалеко, что троллейбусом куда удобнее, на такси очередь и так далее. Оказалось, что едут они не домой, а к министерству, где Роману нужно подписать какую-то бумагу – он похлопал ладонью по портфелю. Посмотрев наконец на него с близкого расстояния, Вера Петровна отметила, что он гладко выбрит, на нем свежая сорочка, коричневый пиджак был тесноват, но застегнут на обе пуговицы. Роману было жарко, и время от времени он просовывал палец за воротник и оттягивал резинку галстука.

Троллейбус остановился у большого здания, они вышли. Вера Петровна с трудом выдернула свою сумку из толчеи пассажиров. Цветы подвяли, стебли потеряли упругость и беспомощно свисали вокруг кулачка. Роман окинул ее быстрым оценивающим взглядом, и она поняла, что не все в ней ему понравилось, но он промолчал и частым деловитым шагом устремился к подъезду, увешанному стеклянными вывесками.

– Вы здесь работаете? – спросила Вера единственное, что пришло ей в голову.

– Да! Вот в эти высокие двери я вхожу каждый день, поднимаюсь в лифте на пятый этаж... Видите третье окно справа от угла? Это мой кабинет, рядом подчиненные.

– И много их? – Вера Петровна решила польстить самолюбию Романа, вопрос о подчиненных должен был ему понравиться.

– Видите ли... Один в отпуске, второй оформляется, третий... еще не в штате. Я попрошу вас вот о чем... Посидите вон на той скамейке, а я вернусь через десять минут. И тогда мы поедем домой. Хорошо?

– Конечно, подожду, – сказала Вера Петровна, чувствуя, что освобождается от скованности. Уж если он поступает так, то и ей нечего волноваться.

– У нас пропускная система, швейцары, вахтеры, милиционеры и так далее. С ними лучше не связываться. – Роман оглянулся по сторонам, и Вера Петровна догадалась, что он не хочет, чтобы их видели вместе.

– Ваша девушка тоже работает здесь?

– Девушка? – Роман растерялся.

– Просто подумалось... Я угадала?

– И да и нет. Это не так. Иначе мы с вами... Я скоро! – Он махнул рукой и направился к подъезду, помахивая портфелем, так странно похожим на своего хозяина – портфель тоже был небольшим и так плотно набит, что его ремни еле дотянулись до замков. Роман шагал четко и часто, штаны его морщинились, задний разрез на пиджаке разошелся в стороны – поправился Роман, видимо, недавно и еще не успел сменить костюм.

Еще до поездки Вера Петровна определила для себя, каким она может принять своего киевского знакомого, каким не примет ни при каких условиях. Пока Роман не восхитил ее ни внешностью, ни манерами, но и не переступил он порог допустимого. Сидя на скамейке, радуясь возможности в начале весны насладиться сильным, жарким солнцем, Вера Петровна рассматривала проходивших мимо людей в легких одеждах, уже успевших загореть, смотрела на яркие клумбы с цветами и незаметно задремала. Когда Роман подошел к ней, она крепко спала, положив голову на чемодан.

– Верочка! Я совсем замучил вас! Простите! – проговорил он без подъема.

Она взглянула на часы – его не было больше часа. «И он не нашел возможности выйти и сказать, что задерживается?» – подумала она рассеянно. Час назад она еще боялась разочаровать его, показаться некрасивой, неумной, невеселой, теперь эти опасения отпали.

– Что бумаги? – спросила она. – Подписали?

– Нет. Отложили на завтра.

– На субботу?

– Ах да...

– Значит, у меня есть время до понедельника?

– Конечно! – сказал Роман, думая о своем, все еще бегая по этажам и заглядывая в кабинеты. Она явственно увидела, как он расстегивал пряжки портфеля, вынимал свои важные бумаги, а начальник, такой же толстый и плотный, отпихивал их. Роман засовывал бумаги обратно в портфель, торопился в другой кабинет, здоровался от двери, мелкими шагами приближался к большому столу, но начальник, едва завидев его портфель, вытягивал вперед ладони, делал жалобное лицо, показывал на часы и подталкивал, подталкивал Романа к выходу, пока не захлопывалась за ним большая, лакированная дверь...

Вера Петровна так ясно представила себе эту картину, что невольно улыбнулась. Она хотела побыть в Киеве неделю и обратный билет купила на следующую субботу. Теперь же, обронив вопрос о том, можно ли ей остаться до понедельника, сама отрезала пути к отступлению. «Ничего, больше побуду в Москве», – решила она.

– А знаете, – сказал Роман, – я увеличил вашу фотографию и повесил дома над столом.

– И как я вам показалась в увеличенном виде?

– В натуральную величину вы лучше.

– Да? Когда же вы успели заметить?

– Успел.

– Не иначе как из окна своего кабинета?

– До него я и не добрался. – Он не заметил подковырки.

Троллейбус снова был переполнен, они с трудом протиснулись в него, вжались в угол на задней площадке у самого окна, и Роман принялся называть улицы, по которым они проезжали, площади, какие-то памятники, магазины, рассказывал, что в каком продают...

– Хороший город, – сказала Вера Петровна. – Чистый.



– И это все, что вы заметили?!

– Мне кажется, что это не так уж мало для любого города.

– Ах да... После вашего поселка это и в самом деле бросается в глаза.

Вера Петровна остро почувствовала уязвленность, ощутила, что в снисходительном отношении к Поронайску Роман идет дальше, его пренебрежение захватывает и ее, пусть самым краешком, пусть невольно, без злого умысла, но захватывает. Пришло такое ощущение, что Роман не сам по себе, с ним заодно и эти высокие дома, обложенные массивными блоками из красного гранита, эти улицы, каштаны, министерства, троллейбусы, министерские двери в два человеческих роста, бумаги, раздувшие его портфель, бумаги, в которых судьбы, события, решения. Все это у него в тылу. А что в тылу у нее? Перекошенный, подтекающий кабинет в поликлинике на противоположной стороне земного шара, две сотни метров деревянных тротуаров, больные старухи, которые приходят на прием, когда уж совсем одичают от одиночества...

Подумав об этом, Вера Петровна только сейчас осознала постыдность своего поступка – приехала, словно и не сомневалась, что этим осчастливит Романа. А ее приезд не стал для него даже настолько важным, чтобы отложить бумаги до понедельника. Не отложил. И не очень огорчился, не подписав их. «Ну что ж, – решила Вера Петровна, – все правильно. Было бы хуже остаться дома и маяться в бесконечных раздумьях и колебаниях. А тут одним махом – и сразу все на местах». Вера Петровна с облегчением почувствовала легкую отчужденность к Роману, усмехнулась его напряженности, с которой он бросался к названию улиц, к каждому памятнику, магазину, проплывающему за окном троллейбуса, опасаясь в чем-то разочаровать ее. Она уже прошла через это.

Но обстановка дома озадачила Веру Петровну. Мать Романа, взволнованная приездом гостя, напекла пирогов, навела в квартире порядок, которого можно добиться ненадолго, да и то к празднику. На столе темнела, серебрилась, искрилась капельками бутылка шампанского, возвышался ярким архитектурным сооружением букет громадных южных цветов, сама Клавдия Федоровна надела новое платье с белым воротничком. Невысокая старушка с загорелым лицом смотрела на гостью с нескрываемым обожанием, покрикивала на сына, посылая его за стаканами, за тарелками, вилками, тот послушно бегал, и постепенно исчезала из его глаз министерская озабоченность, на Веру Петровну он поглядывал с удивлением, будто не ее встречал на вокзале, будто не с ней мотался по городу в переполненных троллейбусах. Переодевшись и приняв душ, Вера Петровна и сама почувствовала, что выглядит неплохо. Она не хотела надевать халат, но настояла Клавдия Федоровна, увидев в этом возможность сразу перевести их отношения в домашние. И действительно, за общим столом, подпоясанная узким пояском, который так выгодно подчеркивал талию, Вера Петровна казалась близким человеком, и это ее превращение, похоже, озадачило Романа.

Но Вера Петровна оставалась сдержанной, твердо помня, что через два дня ей уезжать и что Роман ни словом не возразил против ее отъезда. А поулыбаться, пошутить, отдать должное пирогам и шампанскому – пожалуйста, уж коли Николай Николаевич их общий друг, который живет где-то очень далеко отсюда и который прислал привет и литровую банку красной икры. Вера Петровна охотно улыбалась, рассказывала о своей работе, о Николае Николаевиче, уважении, которым он пользуется в городе Поронайске, где его знает каждая собака, простите, каждый житель от мала до велика. И ни разу не дала понять, что приехала показаться, познакомиться, понравиться.

– Переезжайте в Киев, Верочка! – воскликнула раскрасневшаяся Клавдия Федоровна, но смотрела почему-то на Романа.

– В Киев? – беззаботно переспросила Вера Петровна. – Это сложно. Государство строго следит за тем, чтобы в хороших городах не было лишних людей.

– Да какая же вы лишняя?! – возмутилась Клавдия Федоровна. – Ни одной минуты вы не почувствуете себя здесь лишней! Роман, ты слышишь?!

– Все сложности только издали кажутся непреодолимыми, – произнес Роман. – А при ближайшем рассмотрении они оказываются... не столь уж серьезными.

Нет, не было в его словах ответа на вопрос Клавдии Федоровны. Не поддержал он ее приглашения перебираться в Киев, не заверил, что Вера Петровна действительно не почувствует себя здесь чужой.

– Вы слышите! Решайтесь, Верочка!

– Решаться на что?

– Ну, как... Роман! Скажи что-нибудь?!

– В Киеве много медицинских учреждений, работу найти несложно. В крайнем случае поможем, у меня есть к кому обратиться...

– А какой случай вы называете крайним? – спросила Вера Петровна, рассматривая цветы на столе.

– Когда возникают трудности, когда приходится прибегать ко всевозможным усилиям, чтобы преодолеть препятствие.

– Вы думаете? – рассеянно спросила Вера Петровна.

– Да! – с преувеличенной твердостью сказал Роман. – Я всегда сначала думаю, а потом говорю.

– Какое хорошее качество! Но мне кажется, время ваших слов не пришло, ведь вы еще думаете, верно?

– Верочка, вы начинаете кусаться, это мне нравится.

– Наконец-то хоть что-то вам понравилось во мне, – рассмеялась Вера Петровна. – А то я уж совсем пала духом.

– Но ведь и вы, Верочка, еще думаете, – заметила Клавдия Федоровна.

– О! Я вообще сначала поступаю, а уж потом думаю, разве нет? – После шампанского Вера Петровна могла себе позволить рискованные слова.

– Из чего же это видно? – спросил Роман несколько оскорбленно, хотя и непонятно было, что вызвало его обиду.

– Это видно из того, что я здесь, а вы все еще дома!

– Вера, да с вами опасно разговаривать! – восхитился Роман.

– Только разговаривать со мной и опасно, – успокоила его Вера Петровна, не желая замечать двусмысленности своих слов.

Роман посмотрел на нее озадаченно, склонил голову набок, обдумывая услышанное, потянулся к бутылке, но она оказалась пуста.

– Ничего, я принесу, – сказала Клавдия Федоровна, поднимаясь. – Здесь недалеко один магазинчик, там бывает... А вы пока поговорите. – Она выразительно посмотрела на сына.

– Что вы, Клавдия Федоровна! – воскликнула Вера Петровна. – Не надо! Откровенно говоря, я сижу из последних сил, у нас уже глубокая ночь, я попросту засыпаю!

– Ничего. Пройдусь, подышу, а то я слегка захмелела. Я постелю вам, Верочка, в комнате Романа, а он устроится в общей.

Клавдия Федоровна ушла. Роман с шалым блеском в глазах поглядывал на Веру Петровну, пока она убирала со стола, мыла посуду. Потом направился к проигрывателю, покопался в пластинках и поставил Пугачеву. Что-то, видно, перекликалось в его душе с раскованностью певицы и безудержностью чувств, которые она воспевала. А пела она о том, как некий чудак, до смерти влюбившись в проезжую красотку, взял да и в одночасье распродал все свое имущество – дом, кое-какие художественные ценности и на вырученные деньги накопил цветов, исключительно красного цвета, что должно было говорить о страстной его любви. Цветов оказалось так много, что он завалил ими всю площадь перед домом, где остановилась красотка. Неиз-

вестно, как она отнеслась к такому объяснению, но наутро поспешила покинуть и этот город, и странного типа в задрипанных штанах. Больше она сюда не приезжала, но до конца жизни оставалась потрясенной невиданным зрелищем заваленной цветами площади. Происшедшее с лихвой окупало все огорчения и беды, которых немало случалось в их жизни...

– Вера! – растроганный цветочной историей, произнес Роман. – Простите меня, но сегодня... вы просто обалденная!

– Ха! – легкомысленно воскликнула Вера Петровна. – Вы не видели меня вчера! Но лучше всего я выгляжу в начале недели.

– Почему? – опешил Роман.

– Отсыпаюсь за выходные.

– Нет-нет, вы действительно обалденная.

– Скорее обалдевшая.

– Я, конечно, понимаю рискованность своего комплимента, но ничего не могу с собой поделать. Возможно, это словцо и отдает вульгарностью, но оно внедрилось в нашу речь! Значит, какие-то струны современного человека оно затрагивает, как вы думаете, Верочка?

– Не знаю. – Вера Петровна передернула плечами. – Словцо достаточно... сильное. Возможно, в нем что-то есть. Я пока обхожусь.

Дома, в свободных брюках на резинке и рубашке навывпуск, Роман не казался полным. Вера Петровна уже не замечала маленьких глаз, второго подбородка, наметившегося животика. Роман был оживлен, хотел ей понравиться, развлекал песнями и разговорами... Чего еще? Он взял ее за руки, усадил на диван, сам сел рядом, совсем рядом.

– Вера... Вы только что сказали... Сказали, что вот я-то дома, а вы вроде того что в гостях... Знаете, я не возражаю... вернее, предлагаю... Давайте будем считать, что мы дома. А?

– Будем считать? А как будет на самом деле?

– Не придирайтесь к словам, Верочка! Вы меня поняли, и я вас понял... ведь приехала, сама приехала... ты же сама приехала...

Роман подался ближе, и Вера Петровна, не удержавшись, опрокинулась навзничь. Он не помог ей подняться, наоборот, навалился сверху тяжелым неповоротливым телом, задышал прерывисто, что-то забормотал невнятное, начал копаться в своих широких штанах на резинке, и вдруг она почувствовала его руки у себя на бедрах.

– Роман, и у вас нет никаких сомнений? Вы считаете, что так все и должно быть? Мы же сегодня впервые увидели друг друга. Вас это не смущает? – Она смотрела на него своими темными глазами, не отталкивая, но и не поощряя.

– Верочка... – Он потянулся к ней губами, ткнулся куда-то в щеку, в ухо. – Ты спрашиваешь о сомнениях... вот мы их и устраним, и не будет никаких сомнений... Должен же я убедиться, что ты подходишь мне... Вернее, что мы подходим друг другу...

Роман был слишком неповоротлив. Стоило Вере Петровне чуть повернуться и подтянуть к себе колени, как он грохнулся с узкого дивана на пол. Его позу можно было бы назвать непристойной, но в таких случаях непристойность вполне естественна.

– Приведите себя в порядок, – сказала Вера Петровна, вставая.

И почему-то заплакала.

Все-таки она была врачом и на многие вещи смотрела проще, чем большинство людей. Когда Клавдия Федоровна, так и не найдя шампанского, позвонила в дверь, Роман и гостья чинно сидели за столом и пили чай с пирогами. Роман рассказывал со всеми подробностями, какие бумаги он хотел сегодня подписать, к кому ходил, какие замечания делались, а Вера Петровна говорила о своих старушках, оставленных в далеком Поронайске, об их причудах, капризах, болезнях. Роман смеялся охотно, громко, долго, пытаясь сгладить свой промах.

– Я, кажется, напрасно уходила? – спросила Клавдия Федоровна, сразу почувствовав, что без нее в доме что-то произошло.

– Похоже на то, – невесело улыбнулась Вера Петровна.

– Он все испортил?

– Ну почему же все... Мебель в сохранности, посуда на месте, окна целы...

– Верочка, вы только не торопитесь с выводами, ладно? Мужичку слегка за тридцать... С вами наедине мало кто устоит, уж вы мне поверьте. Да вы и сами знаете...

Оставшиеся до отъезда два дня прошли как нельзя лучше. Вера Петровна почти сроднилась и с Клавдией Федоровной, и с Романом. Когда все собирались за столом, он говорил о больших делах, которые ему приходится решать, какие уважаемые люди стремятся заручиться его поддержкой, подробно рассказал, как ездил в Болгарию, а Вера Петровна, помня раздутый от бумаг портфель, почему-то не очень верила, полагая, что важных бумаг не может быть так много, но говорила больше о заброшенности Поронайска, о смешных случаях с больными, об островных туманах и дождях. Роман и Клавдия Федоровна воспринимали ее рассказы всерьез, не видя в них своеобразного протеста, не чувствуя, что гостя попросту подыгрывает в их стремлении казаться значительнее.

А между тем Роман все больше привязывался к Вере Петровне, он даже предлагал сделать ей больничный лист, чтобы она могла задержаться еще хотя бы на недельку.

– Что вы! – с преувеличенным ужасом воскликнула Вера Петровна. – А как же мои старушки! Они совсем заскучают.

– Старушки вам дороже, чем я? – Роман капризно кривил алые губки, отворачивался, пыхтел и, похоже, в самом деле не хотел столь скорого отъезда Веры Петровны.

– Вы же знаете, что дело не в этом... И потом, я уже взяла билет.

– Взяли билет? – огорчился Роман. – Купил бы я вам этот билет! Все-таки вы приехали ради меня... Ко мне... Должен же я хотя бы половину расходов...

– Ну зачем же так! Возьмите мне лучше на дорогу киевский торт.

– Послушайте, Верочка... – Роман взял ее под руку, и они прошли в глубь сквера. – Я, наверно, здорово оплошал в первый день... Вы уж не имейте на меня зуб, ладно? У вас были такие глаза, вы так улыбались... Будь на моем месте деревянный идол – и тот бы выбросил побег!

– Все в порядке, Роман. Все отлично. Так я надеюсь на торт?

– А я приеду к вам! Хотите?

– Конечно, приезжайте. Может быть, вам и понравится наше тмутараканское ханство на берегу Тихого океана.

– Я к вам приеду, Вера! К вам!

– Конечно, Роман. Буду очень рада.

– А ведь вы не отвечаете. – Роман стал похож на свою фотографию, которую прислал на остров, – взгляд его сделался пронзительным и ревнивым.

– Ну хорошо... Поговорим. Вы уверены, что ваше желание ехать не исчезнет через день, через два? Нам надо многое решить, вернее, на многое решиться. А сейчас, здесь, среди этих роз, можно легко говорить о приезде, отъезде... Но эти разговоры нас ни к чему не обязывают. Правильно? Я приехала без приглашения, это дает вам право поступить так же. А наша разлука... Простите это душеспитательное слово... Наша разлука все поставит на свои места. Вы человек значительный...

– Да какой я, к черту, значительный!

– Вы говорили об этом все время, да я и сама вижу, – улыбнулась Вера Петровна. – Поставить рядом вас и меня – это все равно что поставить рядом Киев и Поронайск...

– Первый раз за все эти дни вы говорите чужь! – Роман ушел вперед, вернулся, остановился перед Верой Петровной, посмотрел в ее темные глаза, которые сейчас были не так строги, как обычно. – Мне тяжело отпускать вас... Я привык... и не собираюсь отвыкать. Я внятно выражаюсь?

- Вполне.
- Мы увидимся?
- Надеюсь.

Роман не купил торт. Не смог. Пришел вечером усталый и злой, принес коробку каких-то конфет, перетянутых лентой. Торт Вера Петровна купила в день отъезда недалеко от вокзала. Роман, придя ее провожать и увидев круглую коробку, украшенную зелеными каштановыми листьями, схватился за голову.

– Не смог, Верочка! Опять оплошал. Дикие очереди за этим тортом. Кажется, это единственное, что можно увезти из Киева в подарок. Посмотрите на отъезжающих – у каждого по три, по пять тортов.

– Но я тоже с тортом, – улыбнулась Вера Петровна. – Все в порядке. Пишите, Роман. Я буду ждать ваших писем. Желаю хорошо отдохнуть на море.

Торт Вера Петровна благополучно довезла до Москвы – проводница согласилась поместить его в свой холодильник. На следующий день ей удалось взять билет на самолет, и через десять часов после вылета Вера Петровна была уже в Южно-Сахалинске. Ночевала она в маленькой гостинице, известной в городе под названием «Золотой клоп», – ей досталось место на раскладушке в коридоре. Шипели трубы отопления, откуда-то вырывался пар, всю ночь хлопали двери, грохотали голоса, и Вера Петровна почти не спала. Торт она поместила между рамами, но среди ночи пошел дождь – весна настигла ее и здесь. Она слушала шум дождя, вспоминала свою поездку, несостоявшееся сватовство и незаметно заснула. А утром выяснилось, что внешнего стекла в оконной раме не было и дождь всю ночь поливал зеленые каштановые листья на картонке. Но торт остался целым. Вера Петровна выехала поздним поездом и утром была в Поронайске. Последние сотни километров она не спала – смотрела в окно на знакомые островные пейзажи, которые так отличались от киевских. Узкоколейка вела все дальше на север, и все беднее, худосочнее становилась тайга, все плотнее становился туман над морем, справа от дороги.

- Как вам понравился Роман? – спросил Николай Николаевич.
- Очень хороший жених. Молодой, с квартирой... похоже, обеспеченный. Вежливый.
- Значит, зря съездили, – огорчился хирург. – Когда отмечают вежливость, обеспеченность... Это конец. Значит, все-таки зря... Жаль.
- Ну почему же зря?! Я привезла совершенно обалденный торт!
- А вы ему понравились. Он звонил мне, умолял подействовать на вас, повлиять как-то... Сегодня мне опять идти на переговоры. Может, вместе пойдем?
- Давайте пить чай, Николай Николаевич! С киевским тортом. Вы такого никогда не пробовали. Я, кстати, тоже.
- Ну что ж, чай – это хорошо, – вздохнул Николай Николаевич, присаживаясь на кушетку. – Что мне ему сказать?
- Скажите, что у меня прекрасные впечатления от поездки, что я очень благодарна и ему и Клавдии Федоровне за гостеприимство.
- Он грозит приехать.
- Не приедет. Для него это слишком далеко. Мы ведь и в самом деле живем далеко. Да и не в расстоянии дело... Он по вертикали далеко от нас. Понимаете? Чтобы приехать сюда, ему придется спуститься с большой высоты.
- Пожалуй, – согласился Николай Николаевич.

Через месяц, возвращаясь вечером из поликлиники, Вера Петровна обратила внимание на человека, сидящего под грибком во дворе общежития. Полноватый мужчина, скрючившись на низкой скамеечке и положив голову на чемодан, крепко спал под стук мелкого дождя по жестяной крыше грибка. Рядом с ним на скамейке стояла размокшая бесформенная коробка. Только по знакомому узору каштановых листьев Вера Петровна догадалась, что в ней.

## ОТДУШИНА

Так вот, я думаю, что каждый человек в наше время, будь он хоть кто, должен чем-то увлекаться. Одни камни до двенадцати ночи полируют, другие марки собирают, но все это блажь. Охота! Во! Пиф-паф! Ой-ой-ой! Умирает зайчик мой! А в садике, куда мое дите ходит, добавляют: привезли его домой, оказался он живой. Так что жизнь продолжается, и все прекрасно.

Ну а если серьезно, ты несешься по пересеченной местности, не замечая преград, палишь из двух стволов сразу, орешь что-то не своим голосом, проваливаешься в болото, на ходу заряжаешь ружье и снова палишь! Полная отдача физических и духовных сил. И так ли уж важно – убьешь ты какую-нибудь зверюку или нет. А если еще подберутся ребята... У нас компания – будь здоров! У каждого «Ява», «ижак» или на крайний случай «Паннония». Только у Шурки Кайдацкого «Вятка». Но без этого нельзя. Всегда должен быть такой, над которым можно посмеяться вдоль и поперек. Над Шуркой можно.

Ну, в общем, так – шороху с той охотой было! С пятницы до понедельника простаивали целые области культуры, науки и производства. Обо мне речи нет, мое дело скромное – токарь-пекарь. Но Валик – кандидат каких-то там наук и большой спец по ножницам и пилам прокатных станов. Ужасно серьезный человек. Пока не выпьет. А Жорка Шестопалов! Старший научный сотрудник института геофизических свойств горных пород филиала Академии наук. Во как! Пока скажешь, иностранцем сделаешься. У нас если кто выпьет, а доказывает, что трезвый, и на мотоцикл лезет, мы ему сразу: а где Жорка работает? Если скажет, значит, трезвый. Алик – конструктор тепловозов. Валера – осветитель с телестудии.

И еще два человека на особом положении. Жмакин – пенсионер, лысый, черный и болтун, каких свет не видел. И Люси. О, Люси! Всю зиму вкалывает в ателье, кроит, режет и намечивает петли. Короче – деньги копит. А чуть весна – на мотоцикл и от моря до моря. Только пыль столбом и хвост трубой. Люси!

Подготовка началась еще в понедельник, и всю неделю мы только и говорили о том, куда на этот раз податься, кого с собой взять, говорили, что неплохо бы дичи побольше насшибать, просто трепались о том, какое хорошее дело – охота.

За это время выяснилось, что у Валеры сломался какой-то штырь на переднем колесе, а у Алика сели аккумуляторы. Алик был в полной панике, потому что тепловоз спроектировать для него – раз плюнуть, а вот аккумулятор – дело темное. И мне пришлось вытачивать штырь, а потом заряжать аккумулятор, а Шурка Кайдацкий, хотя и был знатоком по газоснабжению доменных печей, неплохо разбирался в ружьях и всю неделю ремонтировал Валику одностволку, которую тот где-то выменял на нож с козым копытом вместо ручки.

А когда Ванька-шофер, у которого жена работала в прокатном пункте, взялся обеспечить всех спальными мешками, общий радостный вопль известил окрестности, что уже никакие силы не могут помешать предстоящей охоте.

В пятницу вечером возле моего дома рычали, как голодные псы, штук двенадцать мотоциклов. А между ними расхаживали перетянутые ремнями и патронами, увешанные ружьями, ножами, топорами члены областного общества охотников, если хотите. Этак между прочим ребята пинали тяжелыми ботинками шины, стучали костяшками пальцев по бакам, хорошо зная, что сейчас туда и ста граммов не вольешь, поправляли широкие пояса и угощали друг друга диковинными сигаретами. Упивались могуществом и независимостью. А почему бы и нет? Всю неделю вкалываешь как последний, козыряешь любому встречному-поперечному начальнику, материшься вслед каждому удравшему от тебя автобусу, бегаешь по утрам за ионитным молочком, а по вечерам, повязав рубаху вместо передника, устраиваешь пости-

рушку, и почему бы не повообразить эти два-три дня, что на самом деле ты не просто так, ты – ого-го!

Перед охотой всю неделю ребята галдели, как воробы, кричали до хрипоты, размахивали руками и ногами... А теперь – нет. У всех появилась значительная, тягучая походка, говорили мало, негромко и опять же вразяжку. Улыбались тоже нехотя, будто знали что-то такое-такое.

Из-за моего забора слышался истошный вопль Арчибальда – грязно-серого фокстерьера, за которого я отдал Жмакину весь свой аванс. Говорят, за какие-то заслуги Арчибальд в молодости был награжден золотой медалью, сделанной, между прочим, из алюминия. Время от времени, отталкиваясь всеми четырьмя лапами, он взлетал над забором. Взглянув на милую его сердцу компанию, пес начинал выть с новой силой. Наконец, подавившись собственным лаем, закашлялся и смолк.

Приехала Люси. Событие. Она умеет приезжать так, чтобы ее появление не осталось незамеченным. Резко затормозила и, не дожидаясь полной остановки, спрыгнула с седла, сбросила шлем, будто забрало подняла, встряхнула волосами и только тогда посмотрела на шатию-братию. И шатия смолкла.

– Привет! – сказала Люси. – Соскучились, подонки?

– А как же, – говорю, – все слезы выплакали.

– Все в порядке?

– Не извольте беспокоиться.

Люси внимательно посмотрела на меня. Она сразу поняла, что ответил я немного не так, у моего ответа за пазухой – камень.

– А я, между прочим, и не беспокоюсь. Понял?

– Как не понять, – говорю. – Все понял. Все как есть. Ежели еще что, так мы мигом...

Конечно, можно как угодно относиться к своей жене, но когда среди десятка парней появляется вот такая... вот такая... с широким поясом, конским хвостом, в куртке, провонявшей мотоциклом и всякими там степными травами-муравами, то происходит некоторое смещение мозгов, как говорит Валька-кандидат. Ты весь день носишься по лесам и болотам, палишь из ружья, тонешь, мокнешь и обсыхаешь. Ты до полуночи жрешь дичь, поешь хулиганские песни, но рано или поздно все начинают расползаться по своим мешкам. И вот тогда повисает над костром и над всей поляной... В общем, что-то повисает... Если говорить грубо и зримо, то всем становится до боли важно, чей мешок выберет Люси. Нет, Люси – не такая, чтобы выбирать чей-то мешок, и мы не такие, чтобы позволять ей это делать. Но человек, который на любой паршивой трассе дает сто километров в час, никогда не забудет, кто он: мужчина или женщина. Закон природы.

И потом, у Люси есть свой спальник на самом натуральном собачьем меху. Нашим прокатным мешкам на вате нельзя с ним тягаться. Но рано утром, когда мы просыпаемся от того, что рыбыны хвостами, как ладонями, по воде хлещут, у каждого, глубоко в мозгах, аж где-то возле шейных позвонков, сидит маленькая и остренькая, как осколок, мысль – «кто?».

Ну что ж, я не кандидат наук, я совсем не разбираюсь ни в ножницах, ни в пилах прокатных станков, я понятия не имею, по каким там законам передвигаются по белу свету электровозы, и газоснабжение доменных печей для меня – темный лес. Но я и не лезу. Если предпочтение отдается кандидату, то это не из-за трех сотен, которые он получает. Валька почти всех нас обгонит на трассе, почти всех. И кроме того, у него всегда есть возможность взять на неделю отпуск и мотануть в любую сторону света до самого моря.

– Ну что, Боря, едем? – подходит Люси. В пятницу так не смотрят. Она смотрит на меня из четверга, настороженно, без улыбки.

– Жорки нету. Подождем...

– Он звонил мне, говорит, заболел. Надорвался, сооружая туалет в собственном саду. Точно! Не вру.

– Если так... Надо ехать, – сказал Валька. Конечно, как же иначе – последнее слово за ним, решение принимает он, как же иначе?

Мотоциклы задвигались, зачихали, окутались голубоватым дымком и, виляя, начали по одному выезжать в арку. Поворот рукоятки, переключение скорости, вой... Они выскакивали со двора, будто выстреленные из какой-то штуковины. В городе мы соблюдаем правила, едем медленно, чинно, как порядочные.

И – трасса.

Наконец трасса!

Мы вырвались на нее, как поросята из темного сарая, – с визгом, обгоняя друг друга, заставляя сторониться все живое.

Началось...

С ревом мимо меня прошел на «Паннонии» парень с Чечеловки. Он едет с нами в первый раз, и ему нужно показать все, что он умеет. У него в магазине запчастей знакомый грузчик, а это все-таки большое дело... Вот меня обошел Валька-кандидат. Спокойно обошел, без всяких штучек-дрючек. Он-то знает, что все впереди. Потом проскочили Алик, Валерка и даже Шурка на «Вятке». Пусть. Я не спешил, собирался с духом. Зыркнув, ушла вперед Люси. Она что-то крикнула, но ее крик не пробил волну сжатого воздуха. Впереди катился живой клубок из резиновых шин, железных баков, пульсирующих мозгов, горящих фар и розовых легких, прикрытых куртками и хрупкими грудными клетками. Это месиво несло, увеличивая скорость, не сталкиваясь, не разбиваясь в брызги о встречные грузовики, не переворачиваясь на поворотах.

Я ждал момента, странного такого момента, который наступает каждый раз, когда выезжаешь на трассу. Где-то после пятидесятого километра вдруг начинаешь ощущать каждую деталь «Явы», как часть собственного тела. Чувствуешь боль, когда колесо натывается на камень, чувствуешь напряжение мышц на валу переднего колеса. А цепная передача – мое личное сухожилие. Мотор и сердце работают в такт, между ними проходит артерия особого назначения. И я даже не знаю, что тогда течет по моим жилам – кровь или бензин. Встречный воздух вдавливают в череп щеки, губы, глаза, и только нос выдается вперед, холодный и острый. Тяжелый воздух лежит на груди, будто куча булыжников. И эта тяжесть еще больше объединяет меня с мотоциклом. Моя грудь тоже металлическая, выкрашенная в ярко-красный цвет, как этот бак, руки – литые и никелированные, ноги намертво приварены к педалям...

И я пошел на обгон.

Первым был Шурка. Он не ввязывался в спор, да и зачем? На его «Вятке» только картошку с базара возить...

Стрелка спидометра, как приклеенная, лежит на цифре «100». Отлично... Я начал медленно поворачивать ручку газа... Стрелка дрогнула и поползла... Быстро и бесшумно отстал «Москвич», будто его кто-то неожиданно дернул назад. На мгновение мелькнули испуганные лица его пассажиров.

Солнце, которое светило впереди красным светофором, неожиданно исчезло. Начало быстро темнеть. Я понял, что пора включать освещение, когда встречный самосвал нахально ослепил меня дальним светом. Люси испуганно отпрянула в сторону. Ей повезло – она не выскочила на обочину, а то иди собирай руки-ноги... И какие ноги!

Валька! Впереди оставался только он... Ничего... Ты, кандидат, не очень-то рискуй... В твоём положении обидно будет, если...

Мы рядом.

Он спокойно посмотрел на меня и крикнул, не отводя взгляда от светящегося в темноте асфальта:

– Кончай, Борька! Можешь! Вижу, что можешь! Кончай!



Была не была – я до отказа повернул ручку газа. И будь здоров. Валька позади. Привет родителям!

Сначала Валька тянулся за мной, что-то кричал, но потом поравнялся с Люси, и они отвалили.

Теперь я видел перед собой только густую, нетронутую, неразорванную темноту, вибрирующее шоссе, частокол деревьев, чувствовал, как в меня врывается черный холодный воздух. Впереди над дорогой возникло неясное сияние. Оно увеличивалось, приближалось, обрастало металлом и грохотом, а через секунду мимо пронеслась громада, один воздух от которой был как мешок с цементом. Автобус провалился куда-то вместе с людьми.

И – тишина.

Хорошо!

Не знаю, смог бы я управлять мотоциклом, если бы не рюкзак на заднем сиденье. Где-то около ста тридцати километров – колеса почти не касаются асфальта. ... Мой бедный Арчибалд прижался к бензиновому баку и тихо, не разжимая зубов, скулил. Ничего, привыкай, собака! Думаешь, легко быть другом человека? Думаешь, человеком легко быть?

Прибыли...

Соленые озера. Кому, интересно, они солеными показались? Пили мы эту воду, и с поверхности, и из глубины доставали – никакой разницы. Вода как вода. Тухлятиной воняет. Но если прокипятить – идет. И даже радостно было от того, что с каждым глотком пожираешь миллионы дохлых микробов, которые плавают сейчас в котелке, как сардельки.

Потом, когда уже вовсю горел костер, случилось самое интересное – прибыл Шурик. Мы издали услышали чиханье «Вятки» и помигали фарой. Все замekli, чтобы не прозевать момента. Только корифей Жмакин не мог сдержаться и тихонько повизгивал себе под мышку. Его коричневая лысина, натертая противокмарной гадостью, тускло поблескивала, и в ней отражался костер, горящие фары и даже снесь на брезенте.

Шурка подъехал молча, заглушил мотор и не торопясь подошел к нам. Тишина. Только Жмакин... Не поймешь сначала – плачет он или смеется. Все ждали, что скажет Шурка. Просто ждали его первых слов. И знали – что бы он ни сказал, в ответ все радостно засмеются.

– Я там одного охотника встретил... поговорили, где лучше стрелять. И вот малость задержался...

Шурка еще что-то там лопотал, но его уже не было слышно. Все восторженно завизжали, довольные, что он не обманул ожиданий. Так и не переставая смеяться, мы забыли о Шурке, начали обсуждать что-то еще более смешное.

Хорошее дело – привал в лесу. Ночью. На берегу. У костра. Лежишь на холодящем брезенте и чувствуешь, как тебя наполняет какое-то радостное волнение. Будто кровь насытилась лесным воздухом, криками птиц, рыбьими всплесками, хохотом друзей. А по телу растекается доброта. И так понимаешь людей, так хочешь помочь им в чем-нибудь, что не в силах удержаться – ахнешь еще полстаканчика за здоровье человечества. Чтобы не было войны... Все хлопают друг друга по плечам, рассказывают старые анекдоты и охотно катаются по траве, будто в прошлый раз слышали что-то другое. Но все добрые. Если рассказал человек – надо посмеяться, ему приятно будет, а он посмеется твоему анекдоту, который не успел рассказать сам.

Слышу – Валька что-то толкует Люси про хобби. Очень мне это интересно стало, и попластунски пополз я к ним через брезент – благо пролить уже нечего было.

– Так что ты там про хобби? – спросил я.

– Хобби – это отдушина, – сказал Валька. – Понял? Форточка. Когда становится душно – ее открывают. Когда душно... понял?

– Все понятно, – сказал я. – Даже больше. Желаю успеха. Больно умные стали... Э! Кто в «дурака» хочет?

– Впустую неинтересно, – сказал Шурка. – Давайте так, кто проиграет – в воду на четвереньках. В чем сидит, а? Пока в воде не скроется? Ну, кому страшно?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.